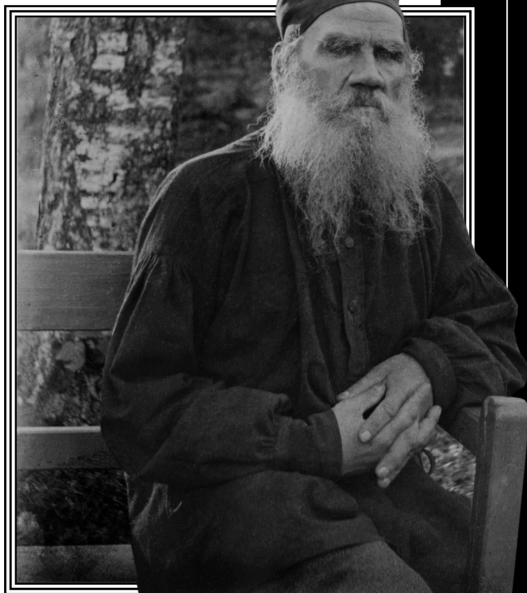


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ирина Паперно



Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

«КТО, ЧТО Я?»

**Ирина Паперно**  
**«Кто, что я?» Толстой в**  
**своих дневниках, письмах,**  
**воспоминаниях, трактатах**  
**Серия «Научная библиотека»**

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=36308852](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36308852)*

*«Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах: Новое литературное обозрение; М.; 2018  
ISBN 978-5-4448-1027-9*

### **Аннотация**

В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, – не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно – филолог, литературовед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

First published as Irina Paperno, „Who, What Am I?“ Tolstoy Struggles to Narrate the Self by Cornell University Press, 2014. Copyright by Cornell University. Перевод с английского автора.  
© И. Паперно, русский перевод, 2018

# Содержание

Предисловие	7
Введение	9
Глава 1	25
Толстой начал вести дневник	26
Нравственный порядок и временная последовательность	29
Что же такое время? Культурные прецеденты	33
«История вчерашнего дня» (1851)	37
Время и повествование	44
Сон	48
«Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность»	61
Что я такое? Культурные прецеденты	65
Интерлюдия: Документальное письмо или художественная литература?	73
Толстой переходит от дневника к литературе (1852)	74
«И, кажется, больше никогда писать не буду» (1859): Толстой отрекается от литературы	79
«О проклятой лит-т-тературе и лит-т- тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от	87

литературы	
Глава 2	90
«Что есть моя жизнь, что я такое»:	93
философский диалог между Толстым и Страховым	
«Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее...»	101
В катехизической форме, в форме беседы	108
Конец ознакомительного фрагмента.	113

**Ирина Паперно**  
**«Кто, что я?» Толстой в**  
**своих дневниках, письмах,**  
**воспоминаниях, трактатах**

© И. Паперно, русский перевод, 2018

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

# Предисловие

Предлагаемая вниманию русскоязычного читателя книга была напечатана по-английски: «Who, What am I?»: Tolstoy Struggles to Narrate the Self. Ithaca: Cornell University Press, 2014. В этом издании были использованы следующие, ранее опубликованные статьи: «Who, What is I?»: Tolstoy in his Diaries. Tolstoy Studies Journal. 1999. № 11, а также Tolstoy's Diaries: The Inaccessible Self // Self and Story in Russian History / Laura Engelstein and Stephanie Sandler, eds. Ithaca: Cornell University Press, 2000; русский перевод: «Если бы можно было рассказать себя...»: дневники Л. Н. Толстого // Новое литературное обозрение. 2003. № 61; Leo Tolstoy's Correspondence with Nikolai Strakhov: The Dialogue on Faith // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010; What, Then, Shall We Do: Tolstoy's Way // Slavic and East European Journal. Fall 2012. Vol. 56. № 3.

В русском переводе книги, выполненном автором, сделаны некоторые исправления, улучшения и сокращения.

В процессе работы автор пользовался помощью работников Государственного музея Л. Н. Толстого на Пречистенке и Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», которым она глубоко признательна. Среди них Г. В. Алексеева, В. С. Бастрыкина, Т. Т. Бурлакова, Н. А. Калинина, Т. Г. Ни-

кифорова, С. Д. Новикова, А. Н. Полосина. Автор признателен коллегам в Калифорнийском университете в Беркли, особенно покойному Хью Мак-Лейну, а также Ренате Доринг, Инессе Меджибовской, Карлосу Монтемайору, Донне Орвин, Кэрол Эмерсон и Лоре Энгельштейн за советы и критические замечания.

# Введение

«Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <...> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга» (1: 279)<sup>1</sup>. Так думал молодой Толстой. Подобно Руссо, он стремился превратить себя в открытую книгу<sup>2</sup>. Хотя он и подозревал, что «не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279), это не помешало ему взяться за дело. Задуманный им в 1851 году полный отчет об одном прожитом дне – «История вчерашнего дня» – остался неоконченным, но на протяжении почти всей жизни, изо дня в день, Толстой писал историю себя.

---

<sup>1</sup> «История вчерашнего дня» (1851). О цитировании: здесь и далее по всей книге, за исключением специально оговоренных случаев, произведения Толстого цитируются по юбилейному изданию: *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Художественная литература, 1928–1958. Ссылки на это издание даны в тексте в круглых скобках с указанием тома и страницы. Заметим, что в Полном собрании сочинений слова, написанные Толстым в сокращении, дополняются издателями, причем дополнения отмечены квадратными скобками; в настоящей книге такие редакторские дополнения не отмечаются.

<sup>2</sup> О проекте Руссо см.: *Starobinski J.* Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction / Trans. from French by Arthur Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press, 1988. P. 182.

В течение многих лет, в 1847–1858 и 1884–1910 годах, он вел дневник. Гигантский текст дневника отражает стремление Толстого определить на письме, «Кто, что я?» (эту фразу он многократно повторял). На протяжении всей жизни Толстой то и дело испытывал отчаянье, которое охватило его в юности, когда он впервые попытался, «чертя по бумаге буквы» (46: 65), описать себя в дневнике. Это отчаянье было особенно острым в старости, в дневниках последних лет. Открытия Толстого-писателя не принесли облегчения.

Задача описать «Кто, что я?» занимала Толстого и в других его текстах, написанных от первого лица (я, Лев Толстой), а их было много<sup>3</sup>.

Принято считать, что Толстому удалось передать в своих романах формы человеческого опыта, трудно поддающиеся описанию, – внутреннюю речь, подсознательные процессы, сны. В этой книге я хочу показать, как Толстой пытался описать и определить свое «я» в нехудожественных текстах, написанных от первого лица, – дневниках, письмах, воспоминаниях, исповедях, трактатах и проч.

Это не было чисто литературной задачей. В структуре повествовательного текста (особенно текста девятнадцатого века) заложена философская концепция, отводящая поступательному движению времени главную роль в формирова-

---

<sup>3</sup> Что касается объема нехудожественных писаний Толстого, то только одна треть томов 90-томного собрания занята художественными произведениями (вместе с черновиками), а две трети – нехудожественными.

нии человеческой жизни, а это предполагает идею конечности. Для Толстого эта концепция была неприемлемой, и он не хотел смириться с тем, что личность человека ограничена пределами того, что может быть высказано. В этом смысле дневники и другие человеческие документы и трактаты Толстого представляют собой проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла.

В ранних дневниках Толстой работал над такими задачами изо дня в день, на материале повседневности. Его занимала проблема времени. Он старался выработать метод, который позволил бы фиксировать на письме прошлое, настоящее и будущее.

Каждая дневниковая запись отсылала к записи, сделанной накануне, и завершалась подробным расписанием на следующий день (под завтрашней датой). Следующим вечером Толстой обзирал совершённое в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он обзирал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись каждого дня заканчивалась планом на следующий день. Он фиксировал, в чем сегодняшней день разошелся с «вчерашним завтра». В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее. Главная трудность – это отражение настоящего. Стремясь запечатлеть самый процесс чувствования и мышления, Толстой предпринял эксперимент: записать *все* впечатления,

чувства, мысли одного дня. (Повествование, ведущееся от первого лица, следует за рассказчиком даже в область сна.) Моя цель – представить знаменитую «Историю вчерашнего дня» (1851) как экспериментальную попытку создать повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия – своего рода книгу жизни (Толстой часто пользовался этой метафорой).

В течение 1850-х годов Толстой перешел от писания дневника к профессиональному авторству и к литературе, и дневник постепенно сошел на нет. В годы, когда он писал свои главные романы, Толстой не вел дневника.

В его дальнейшей жизни были моменты (1859, 1869–1870 и 1874–1875), когда Толстой хотел покинуть «литературу». В такие моменты – время острого кризиса – он обращался к другим типам писания, таким как письма и педагогические сочинения. Дожив до пятидесяти лет, во время работы над «Анной Карениной» Толстой объявил, что окончательно порвал с литературой, чтобы обратиться к религии. В этой книге я постараюсь показать, как его религиозное обращение было подготовлено в течение 1875–1879 годов в дружеской переписке с Н. Н. Страховым. Для обоих это была сознательная попытка определить в процессе переписки свои религиозные убеждения – философский диалог о вере, и частью этой душевной работы была попытка ответить на вопрос: «что такое моя жизнь, что я такое?»

Итогом этой работы стала «Исповедь» Толстого (раннее

название «Что я такое?»), текст, писавшийся не для печати, но позже (в 1882 году) опубликованный. Моя задача показать, что «Исповедь» – это не художественное произведение и не автобиография, а повествование о религиозном обращении (жанр, восходящий к «Исповеди» Августина). В структуру этого жанра входит сдвиг в понимании авторского «я»: в конце повествования «я» – это уже не тот человек, жизнь которого в нем описана. Более того, после обращения «я», осознав себя как часть бесконечного («Что я такое? часть бесконечного» 23: 36), ищет освобождения от индивидуального.

Но и после «Исповеди», в которой Толстой объявил о разрыве и со своей прежней жизнью, и с литературой, он продолжал писать. В конце «Исповеди» он приходит к заключению, что истина заключается не в собственном «я», а в христианской религии, но прежде чем принять веру, он чувствует необходимость переписать ее положения. (Как заметил Толстой, «после 1800 лет исповедания Христова закона <...> мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа» 23: 335.) Его ревизионистские богословские сочинения, такие как «В чем моя вера?» (1883–1884) и «Соединение и перевод четырех Евангелий» (во вступлении), написаны от первого лица.

Во всех текстах, написанных с точки зрения «я, Лев Толстой», проблема своего «я» включает моральное и социальное измерение. Чтобы понять, «что я такое?», необходимо

решить, «что мне делать?» (Толстой заимствовал эту фразу у Канта). К этой проблеме Толстой обращался большую часть жизни, от ранних педагогических статей (некоторые из них выполнены в форме дневника), в которых описывал свои попытки научить крестьянских детей читать и писать, до позднего морально-экономического трактата «Так что же нам делать?» (1882–1886), посвященного его (безуспешным) попыткам помочь городским бедным. В этом трактате Толстой поставил вопрос о своем «я» в зависимости от другого: «Кто такой я, тот, который хочет помогать людям?» (25: 245). Как я хочу показать, чтобы ответить на этот вопрос, Толстой переписал в религиозном ключе гегелевскую диалектику раба и господина.

Дважды в жизни Толстой предпринял попытку написать автобиографию или мемуары и оба раза потерпел неудачу («Моя жизнь» в 1878 году и «Воспоминания» в 1903–1906 остались незаконченными). В 1878 году он решил описать свою жизнь исключительно на основе собственных воспоминаний. Возможно ли это? Я покажу, как в процессе первого эксперимента Толстой сконструировал то, что Фрейд впоследствии назвал экраном воспоминания. Вторая попытка преследовала моральные цели: написать историю своей жизни, которая будет полезнее людям, «чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений» (34: 348). Он хотел «написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость – совсем правдиво – правдиво»

вее даже, чем Руссо» (73: 279), но, в отличие от Руссо в его «Исповеди», с целью возбудить в читателе отвращение к себе (34: 248). В обоих случаях воспоминания имели и метафизический смысл. Толстой знал, что мемуарист обычно придерживается границ биологической жизни, но тем не менее спрашивал себя (подобно Августину в его «Исповеди»): «Когда же я начался? Когда начал жить?», стараясь проникнуть в состояние до рождения, от которого, как и после смерти, «не будет воспоминаний, выразимых словами» (23: 470). Немудрено, что при такой установке даже автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» не смог справиться с задачей написать свою жизнь.

Вскоре после выхода «Исповеди» Толстой после многолетнего перерыва стал снова вести регулярный дневник. Дневники позднего Толстого писались в ежедневном предвосхищении смерти. Это экзистенциальное состояние требовало особого распорядка: в поздних дневниках рассказ о дне заканчивается не расписанием на следующий день, а фразой «если буду жив» (в сокращении «е. б. ж.»), следующей за завтрашней датой. Отчет о следующем дне начинается с подтверждения: «жив». В течение более чем двадцати лет в дневнике история каждого дня писалась так, как если бы это был последний день жизни. Задача последнего дня была ясна: «освободить свою душу» (56: 88). Описывая свою повседневную жизнь, Толстой излагал ход борьбы со своим земным «я» – плотскими желаниями, привычками и, нако-

нец, самым сознанием. В дневнике он радостно фиксировал признаки разрушения тела и провалы памяти – знаки «освобождения от личности» (56: 98).

И тем не менее Толстой продолжал писать (и не только дневник): его мучило парадоксальное желание определить то не-я, которое лежит вне сознания, вне памяти, вне времени и вне речи. Но он напряженно думал и о необходимости молчания. В 1909 году Толстой описал это состояние в письме: «если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, но написать бы теперь: *Могу молчать. Не могу молчать.* Только бы жить перед Богом» (57: 6, курсив Толстого).

В старости Толстой посвятил себя составлению альманахов для ежедневного чтения, включавших как его собственные мысли, так и афоризмы, заимствованные у его любимых авторов: «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения» и другие. Альманахи представляли собой вид дневника, не зависящего от условия «если буду жив», поскольку каждый из них проделывал полный годовой круг. Толстой был не только автором, но и читателем этих альманахов: он ежедневно читал «Круг чтения». Как сказал Андрей Белый, «„Круг чтения“ есть молчание самого Толстого»<sup>4</sup>.

Его последней надеждой была смерть – именно в смерти, или на границе между жизнью и смертью, он надеялся

---

<sup>4</sup> Цит. по: *Белый А.* Лев Толстой и культура [1912] // Лев Толстой. Pro et Contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 583.

приобщиться к внеличному бытию, а следовательно, и к бессмертию: «бессмертно только то, что не я» (49: 129).

Прообразом такого бытия был для Толстого сон: засыпая, «я теряю сознание, а все-таки живу»; не так ли в смерти – умирая, человек «теряет личность, индивидуальное» (48: 75). В поздних дневниках Толстой экспериментировал с записями своих снов. Как кажется, он, вопреки здравому смыслу, надеялся оставить запись о том, что «я при смерти узнаю» (56: 115).

В иные минуты он понимал: «Сказать же, что *было* до жизни, и *будет* после смерти, значило бы прием мысли, свойственный только в этой жизни, употреблять для объяснения других, неизвестных мне форм жизни» (57: 142). Как и в юности, Толстой прибегал к метафоре «книга жизни». И все же он верил, что хотя книга его жизни, написанная «посредством строк и букв» и «написанная на времени» (57: 19), подошла к концу, «это только первый том неизвестно сколь многотомного сочинения и достать продолжения здесь нельзя. Только за границей на иностранном языке можно будет прочесть его. А наверно прочтешь» (50: 4).

В конце концов, хотя «история моей жизни» осталась ненаписанной, попытки Толстого определить сущность своего «я», отраженные не в томах его художественных произведений, а в том, что написано от первого лица, дошли до читателя. Не только философские, религиозные и моралистические трактаты Толстого, но и его дневники, письма, неокон-

ченные воспоминания, записные книжки и клочки записей (в том числе и записи снов) были в конце концов опубликованы (в основном после его смерти)<sup>5</sup>. Философский смысл таких записей не остался незамеченным исследователями<sup>6</sup>. Для многих читателей в России и за ее пределами борьба Толстого с ограничениями, которые накладывают на человека формы и категории мышления (включая и идею своего «я», то есть индивидуальности) и повествовательные формы, оказалась плодотворной в дальнейших поисках. (Среди таких читателей был Людвиг Витгенштейн, следовавший за Толстым и в своей личной жизни, и в своей философской критике языка<sup>7</sup>.) В свою очередь, Толстой следовал за длинным рядом мыслителей, которые задавались вопросом «Кто, что я?» (в частности и в этой формулировке).

В течение всей книги я стараюсь поставить Толстого и его эксперименты с сознанием и повествованием в широкий культурный контекст, соотнести его с теми авторами, с ко-

---

<sup>5</sup> Дневники и записные книжки Толстого занимают тт. 46–58 (1934–1953); в примечаниях можно найти библиографию более ранних публикаций дневников. См. описание внешнего вида и способов ведения дневников и записных книжек в примечаниях: 46: XIII–XV.

<sup>6</sup> Одним из первых о философском смысле дневников Толстого писал Иван Бунин, бывший в молодости толстовцем: *Бунин И.* Освобождение Толстого. Париж: Современные записки, 1937. О поздних дневниках Толстого говорил в философском ключе В. В. Биbihин в курсе лекций на философском факультете МГУ в 2000–2001 годах: *Биbihин В. В.* Дневники Льва Толстого / Вступ. статья Ольги Седаковой. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012.

<sup>7</sup> О связях между Толстым и Витгенштейном см. в Главе 3 настоящей книги.

торыми он сознательно вступал в диалог (среди них Платон, Августин, Декарт, Локк, Стерн, Руссо, Кант, Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Маркс), и с теми, которых он отвергал (Гегель, Ницше) или не знал (Фрейд).

Следует заметить, что Толстой не ограничивался западными философскими и литературными источниками. Известно, что в поисках альтернативы понятию об индивидуальном «я» он обращался к индуизму и буддизму (следуя в этом за Шопенгауэром) и читал Конфуция и Лао Цзы<sup>8</sup>. Име-

---

<sup>8</sup> Интерес Толстого к понятию личности в восточной (индийской и китайской) мысли останется за пределами этого исследования – эта область вне моей профессиональной компетенции. Приведу лишь базовую биографическую и библиографическую информацию. Интерес Толстого к Востоку, а именно к буддизму и индуизму, начинается в 1870-е годы (когда он обсуждал вопросы веры и личности с Николаем Страховым) и, как кажется, связан с чтением Шопенгауэра. Как и Шопенгауэра, Толстого привлекала альтернатива к западному понятию о личности («я»). Толстой впервые упоминает китайских мыслителей Конфуция и Лао Цзы в 1877 году, также в переписке со Страховым. В 1884 году он читает Конфуция и Лао Цзы в процессе подготовки «Круга чтения» (49: 68). Ученик Толстого Павел Бирюков опубликовал справочник упоминания Толстым восточных религий: *Birjukoff P. Tolstoi und der Orient: Briefe und sonstige Zeugnisse über Tolstois Beziehungen zu den Vertretern orientalischer Religionen*. Zurich; Leipzig: Rotapfel Verlag, 1925. Каталог книг об Индии в библиотеке Толстого (в основном исследований немецких и английских буддологов) составлен его последним секретарем: *Булгаков В.* Книги об Индии в библиотеке Л. Н. Толстого // Краткие сообщения Института востоковедения. 1959. № 31. С. 45–56. Более полная информация о библиотеке Толстого в издании: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Т. 3. Тула, 1999. См. также: Л. Н. Толстой и Индия. Переписка // Ред. Т. Н. Загородников. М.: Восточная литература, 2013. Научные исследования включают: *Bodde D. with the cooperation of Galia Speshneff Bodde. Tolstoy and China*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950; *Шуфман А. Ф.* Лев Тол-

ются у Толстого и упоминания православной традиции исихазма<sup>9</sup>.

Толстому было важно, что эти вопросы занимали и крестьян. Он любил пересказывать слова своей старой няни: лежишь в своем чуланчике день и ночь одна-одинешенька и слушаешь, как часы за перегородкой домогаются: «Кто ты – что ты? кто ты – что ты?» В этом – вторил Толстой – и вся штука: «кто ты, что ты?»<sup>10</sup>.

В этой книге история поисков Толстого рассказана несколько раз. Первая глава посвящена его ранним дневникам. «Интерлюдия» кратко описывает переход Толстого от дневников к художественной прозе в начале 1850-х годов и отмечает те моменты в его дальнейшей жизни (1859, 1869–1870, 1874–1875), когда он решил отказаться от литературы, обращаясь к другим жанрам и формам. Вторая глава посвящена переписке Толстого с Н. Н. Страховым в 1875–1879 годах: его попыткам, отойдя от художественного творчества, определить сущность веры в частных письмах. Третья глава в основном посвящена «Исповеди» (1882) – как тексту, гово-

---

стой и Восток. М.: 1971, *Balasubramanian R. The Influence of India on Leo Tolstoy and Tolstoy's Influence on India: A Study of Reciprocal Receptions.* Lewiston, N. Y.: Mellen Press, 2013.

<sup>9</sup> Ричард Густафсон подчеркивает роль православного богословия для Толстого в: *Gustafson R. F. Leo Tolstoy, Resident and Stranger: A Study in Fiction and Theology.* Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986; *Густафсон Р. Ф. Обитатель и Чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого / Пер. с англ. Т. Бузиной.* СПб.: Академический проект, 2003.

<sup>10</sup> *Бунин И. Освобождение Толстого.* С. 103–104.

рящему о религиозном обращении (вкратце в этой главе говорится о религиозных трактатах Толстого). Четвертая глава описывает незаконченные попытки Толстого написать автобиографию или мемуары («Моя жизнь» в 1878 году и «Воспоминания» в 1903–1906) и старается объяснить, почему он потерпел поражение. Пятая глава, посвященная трактату «Так что же нам делать?» (1882–1886), имеет дело с проблемой «я и другой» и вопросами социальной морали. Шестая глава, посвященная поздним дневникам Толстого (а также его альманахам для чтения), показывает попытки окончательного освобождения от личности и от авторства (1884–1910). Во всех главах речь идет о снах Толстого – большую часть жизни он записывал сны, надеясь найти в них другой тип сознания и другую форму повествования.

\* \* \*

Прежде чем перейти к анализу текстов, позволю себе некоторые обобщения о том, каково место Толстого в истории идей.

Толстой не хотел принять идеи прогресса, и особенно трудно ему было примириться с секуляризацией. Когда он начал писать, в 1850-е годы, Толстой вступил в интеллектуальный контекст, в котором все большее место занимали внерелигиозные формы представлений о природе человека. Во многих отношениях точкой отсчета для него был Руссо.

У историков идей принято говорить о Руссо как о поворотном пункте в истории форм самоповествования, соотнося его с Августином: Руссо (в «Исповеди» и в «Исповедании веры Савойского викария») создал секулярную модель письма о себе и своем «я», но такой тип автоописания получает смысл только на фоне более ранних религиозных форм самоповествования, таких как «Исповедь» Августина. В этой книге я стараюсь вписать Толстого в эту траекторию. Как я стараюсь показать, Толстой в своей «Исповеди», религиозных трактатах и поздних дневниках предпринял последовательную и сознательную попытку повернуть вспять ход развития западной мысли – прогрессивный курс на секуляризацию и на индивидуальность. На пороге двадцатого века Толстой пытался ресакрализовать повествование о себе. В этом смысле его усилия были регрессивными, но, разумеется, с учетом того, что видишь только задним умом: он старался служить интересам своих современников – интересам секуляризованного человека, который был снабжен сложными литературными формами (к чему Толстой-писатель приложил руку), но оказался беззащитен перед лицом смерти.

\* \* \*

Нет сомнения, что нехудожественные писания Толстого, как частные (дневники и письма), так и публичные (трактаты и автобиографические фрагменты), воспринимаются чи-

тателем как значительные именно благодаря репутации Толстого-художника, прославленного автора «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Принято говорить о двух Толстых – Толстом-художнике и Толстом-моралисте. Делались и попытки примирить двух Толстых. Так, исследователи утверждали, что все творчество Толстого, раннее и позднее, художественное и нехудожественное, объединено серией мотивов и эмблематических образов, утверждающих его философскую и религиозную позицию<sup>11</sup>. Владимир Набоков (выступая как профессор русской литературы) сказал о Толстом-мыслителе, что ему хотелось бы «запереть его в каменном доме на необитаемом острове с бутылкой чернил и стопками бумаги, подальше от всяких этических и педагогических „вопросов“, на которые он отвлекался, вместо того чтобы любоваться завитками темных волос на шее Анны Карениной»<sup>12</sup>. Мне же представляется, что, запертый на необитаемом острове с бутылкой чернил и стопками бумаги, Толстой, не отвлекаясь на романы, писал бы дневник.

---

<sup>11</sup> Пример такого подхода – книга Джорджа Стайнера «Толстой или Достоевский» (1959). См.: *Steiner G. Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism*. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 1996. P. 242–243. Ричард Густафсон в упомянутой выше книге придерживается сходной концепции.

<sup>12</sup> *Nabokov V. Lectures on Russian Literature / Ed. by Fredson Bowers*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981. P. 140. Я использовала русский перевод из издания: *Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. и франц., предисл. И. Толстого*. М.: Независимая газета, 1996.

Но вся штука в том, что Толстой писал то одно, то другое. И мне кажется, что писать о себе от первого лица – это акт, который принципиальным образом отличается от художественной репрезентации образа или концепции «я» в романе или рассказе. Именно таким актам самоповествования – писанию того, «Кто я, что я?» – посвящена эта книга.

# Глава 1

## «Чтобы сам бы легко читал себя...»: ранние дневники Толстого

*Толстой начал вести дневник (1847) – Нравственный порядок и временная последовательность – Что же такое время? Культурные прецеденты – «История вчерашнего дня» (1851) – Время и повествование – Сон – «Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность» – Что я такое? Культурные прецеденты*

## Толстой начал вести дневник

Толстой начал вести дневник в марте 1847 года в возрасте восемнадцати лет. Это было клиническое исследование, проводившееся в лабораторных условиях – в больничной палате, где он лечился от венерического заболевания. Огражденный от внешних влияний, он намеревался, подобно Руссо, «взойти сам в себя» (46: 3). В самонаблюдении он руководствовался и практической целью: с помощью дневника взять под контроль свою рассеянную жизнь. (Толстому грозило исключение из Казанского университета за неуспеваемость.) Им руководил также исследовательский интерес – проследить взаимодействие внешних обстоятельств и внутреннего состояния, соотнести телесное и духовное в ежедневной жизни человека. Цели были ясны – но не способ их достижения.

Первая трудность – о чем писать? Толстой заполняет страницы своего первого дневника пересказом прочитанного, а именно «Наказа» Екатерины (это тема его курсовой работы по русской истории). Молодого Толстого привлекала заключавшаяся в «Наказе» утопическая концепция социального порядка для общества будущего, а также ее философское обоснование: счастлив человек, в котором воля управляет страстями, и государство, законы которого служат орудием подобного контроля. Однако с изложением «Наказа»,

сделанным во второй день, его первая попытка вести дневник закончилась.

Опять (и опять) принимаясь за дневник, Толстой определил его назначение: по дневнику он будет «судить о ходе своего развития» и «усовершенствования самого себя», «в дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны тоже быть определены мои будущие деяния» (46: 29). «По дневнику весьма удобно судить о самом себе» (46: 34). Его не покидала и другая мысль: как писать? Он посмотрел в зеркало, вышел на улицу и посмотрел на звездное небо: «Пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за запачканный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова – фразы, но разве можно передать чувство» (46: 65).

Наряду с дневником в 1847 году Толстой вел «Журнал ежедневных занятий». Основной его функцией было планирование и учет проведенного времени. Каждая страница журнала была разделена вертикальной чертой на две графы. В одной из них, озаглавленной «Будущее», Толстой перечислял все то, что он намеревался сделать завтра; параллельная графа, озаглавленная «Прошлое», содержала отметки о выполнении плана, сделанные на следующий день (самой частой из таких отметок было «не совсем»). «Настоящего» не было.

Кроме того, Толстой заполнял тетради сводами правил –

«Правила для развития воли», «Правила в жизни», «Правила», «Правила вообще» (46: 262–276). Можно сказать, что в этих текстах Толстой создавал не историю, а утопию личности – свой собственный «Наказ».

Другая тетрадь, «Журнал для слабостей» (или «Франклиновский журнал»), содержала список слабостей («лень», «лживость», «нерешительность», «тщеславие» и т. п.), и Толстой, следуя методу Бенджамина Франклина, каждый день отмечал крестиком выказанную слабость. Он вел также бухгалтерскую книгу – отчет о финансовых тратах. Как можно судить по этим документам, состояние нравственного и денежного хозяйства молодого Толстого оставляло желать лучшего. Но больше всего Толстого беспокоила растрата иного капитала – времени<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Практику ведения дневника связывали со страхом смерти. Так, по мнению Алена Корбена, дневник представляет собой способ предотвращения растраты времени. См.: *Corbin A. Backstage // A History of Private Life / Ed. by Michelle Perrot. Translated from French. Vol. 4. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. P. 498–502.*

# Нравственный порядок и временная последовательность

Начиная с 1850 года временная схема «Журнала ежедневных занятий» и моральная отчетность «Франклиновского журнала» совместились в рамках одного повествования. Каждая дневниковая запись завершалась подробным расписанием на завтра. На следующий день вечером Толстой обзирал совершенное в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он также рассматривал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись заканчивалась расписанием на следующий день – под завтрашней датой. Приведенная ниже запись типична для 1850-х годов:

24 [марта 1851]. Встал немного поздно и читал, но писать не успел. Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость). Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал (трусость). Колошин (Сергей) пришел пить водку, его не спровадил (трусость). У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том, что нужно, трусость. У Беклемишева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету (трусость), и не сделал одной штуки от того, что больно (нежничество). – У Горчакова

солгал (*ложь*). В Новотроицком трактире (*мало fierté*). Дома не занимался Английским языком (*недостаток твердости*). У Волконских был неестественен и рассеян, и засиделся до часу (*рассеянность, желание выказать и слабость характера*).

25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика. С 12 до 1 Английский язык. Беклемишев и Беер с 1 до 2. С 2 до 4 верхом. С 4 до 6 обед. С 6 до 8 читать. С 8 до 10 писать. – Переводить что-нибудь с иностранного языка на Русский для развития памяти и слога. – Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит. —

25. Встал поздно от лени. Дневник писал и делал гимнастику, торопясь. Английским языком не занимался от лени. С Бегичевым и с Иславиным был тщеславен. У Беклемишева струсил и мало *fierté*. На Тверском бульваре хотел выказать. До калымажского двора не дошел пешком, нежничество. Ездил с желанием выказать. Для того же заезжал к Озерову. – Не воротился на калымажный, необдуманность. У Горчаковых скрывал и не называл вещи по имени, обман себя. К Львову пошел от недостатка энергии и привычки ничего не делать. Дома засиделся от рассеянности и без внимания читал Вертера, торопливость (46: 54–55).

Такая дневниковая запись представляет собой разом и план на будущее, и рассказ о прошедшем дне и носит как

описательный, так и предписательный характер. Вечером каждого дня Толстой прочитывал настоящее с точки зрения ожиданий прошлого (обычно неоправдавшихся) и предвосхищал такое будущее, которое должно было воплотить его ожидания. На следующий день он вновь отмечал, в чем сегодняшней день разошелся с «вчерашним завтра»<sup>14</sup>. В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее.

Главная трудность, с которой сталкивается Толстой в попытке создать упорядоченный рассказ о прожитом времени, а таким образом и нравственный порядок, – это отражение настоящего. Сегодняшний день сначала задается в дневнике как день завтрашний, помещенный в контекст дня вчерашнего (в плане на следующий день используются неопределенные глагольные формы: читать, писать, переводить, написать). Вечером, когда Толстой садится за дневник, сегодня – это уже прошлое (используется прошедшее время: встал, писал, не занимался). Запись завершается картиной завтрашнего дня, причем план на завтра датируется завтрашним числом, а неопределенные глагольные формы сообщают этому повествованию вневременность. В отличие от «Журнала ежедневных занятий», дневники 1850-х годов выделяют для

---

<sup>14</sup> О понятии «вчерашнего завтра» (vergangene Zukunft) писал Райнхарт Козеллек: *Koselleck R. Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.*

настоящего некоторое место, но это настоящее лишено автономности: настоящее – это лишь область пересечения прошлого и будущего.

В одной из принадлежавших юному Толстому тетрадей находим следующую запись, которую редакторы Полного собрания сочинений сочли упражнением по французскому языку:

Le passé est ce qui fut, le futur est ce qui sera et le présent est ce qui n'est pas. – C'est pour cela que la vie de l'homme ne consiste que dans le futur et le passé et c'est pour la même raison que le bonheur que nous voulons posséder n'est qu'une chimère de même que le présent (1: 217)<sup>15</sup>.

Этот вопрос беспокоил, конечно, не одного Толстого: у него была долгая предыстория.

---

<sup>15</sup> «Прошедшее – это то, что было, будущее – то, что будет, а настоящее – то, что не существует. – Поэтому жизнь человеческая состоит лишь в будущем и прошедшем, и счастье, которым мы хотим обладать, есть только призрак, как и настоящее».

# Что же такое время?

## Культурные прецеденты

Недоумение «Что же такое время?» выразил Августин в одиннадцатой книге «Исповеди»: будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее преходяще. Обладает ли в таком случае время реальным существованием? Что есть настоящее? День? Даже единый день не целиком находится в настоящем, рассуждал Августин, некоторые часы дня находятся в будущем, другие в прошлом. Час? Но и час составлен из «убегающих частиц». Настоящее не имеет длительности, не занимает места (11.14.17–11.17.22)<sup>16</sup>. Его решением было, что прошлое и будущее есть «представления», живущие в душе, или уме, человека: это воспоминание и ожидание. Время приобретает осязаемое бытие в процессе повествования: «правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события – они прошли, – а слова, подсказанные образами их» (11.18.23). Таким образом Августин связывает понятие о времени и понятие о душе. В конечном итоге вопрос «Что же такое время?» является частью глав-

---

<sup>16</sup> Здесь и далее при цитировании «Исповеди» Августина я следую общепринятому стандарту, указывая номер книги, главы и параграфа. Использован, с изменениями, перевод из издания: *Августин Аврелий. Исповедь* / Пер. с лат. и коммент. М. Е. Сергеенко. Предисл. и послесл. Н. И. Григорьевой. М.: Гендальф, 1992.

ного вопроса всей «Исповеди»: «Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?» (10.17.26)<sup>17</sup>.

На протяжении столетий философы повторяли и видоизменяли эти доводы. Руссо подходил к вопросу о времени в светском ключе, рассуждая о преходящем характере человеческих чувств. Наши привязанности не имеют длительности, но неизбежно меняются, они напоминают о прошлом, которого уже нет, или предвосхищают будущее, которому часто не суждено наступить. Счастье, о котором сожалеет мое сердце, не состоит из «беглых мгновений» («le bonheur que mon cœur regrette n'est point composé d'instants fugitifs»), это состояние души цельное и постоянное. Так рассуждал Руссо в своих «Прогулках одинокого мечтателя» («Rêveries du promeneur solitaire», «Пятая прогулка»). Как и в «Исповеди», Руссо посвятил эти записки тому, чтобы «изучить и описать самого себя», дать себе отчет в изменениях своей души («Первая прогулка»)<sup>18</sup>.

С конца восемнадцатого века время как объект познания индивидуума стало предметом экспериментов в области повествования, предпринимаемых писателями, такими как

---

<sup>17</sup> В изложении взглядов Августина я опираюсь на анализ «Исповеди», предложенный Полем Рикером, см.: *Ricoeur P. Temps et récit*. Paris: Seuil, 1983–1985. Т. 1. Р. 27–29.

<sup>18</sup> Руссо не ссылается здесь на Августина, которого он, однако, упоминает, в другом контексте, во «Второй прогулке». О Руссо см.: *Starobinski J. Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction* / Trans. from French by Arthur Goldhammer. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. P. 180–200.

Руссо и Стерн. В середине девятнадцатого века, после Канта и Шопенгауэра, вопрос о существовании и несуществовании времени в его отношении к человеческому сознанию был уже темой ученических сочинений.

Толстому-писателю предстояло сыграть немаловажную роль в продолжавшихся попытках писателей ловить время. Но в юные годы он разрабатывал первые, домашние методы по управлению течением времени при помощи повествования в своем дневнике.

Молодой Толстой едва ли знал Августина. (Много позже, читая Августина, Толстой обратит внимание именно на проблему времени и повествования и хорошо поймет ее богословский потенциал<sup>19</sup>.) Но молодой Толстой хорошо знал Руссо, и присутствие Руссо в дневнике вполне ощутимо<sup>20</sup>. Он хорошо знал и Стерна.

Однако можно думать, что главным образом Толстой постигал проблему времени в процессе писания дневника. Зафиксированное в дневниковой записи, прошлое останется с

---

<sup>19</sup> О Толстом и Августине писала Алла Полосина; она также отмечает, что Руссо вторит Августину в медитации о времени в «*Les Rêveries du promeneur solitaire*»: Полосина А. Н. Руссоизм Л. Н. Толстого // Литературоведческий журнал. 2011. № 28. С. 74–75. О Толстом и Августине речь будет идти в нашей книге и в дальнейшем.

<sup>20</sup> Борис Эйхенбаум приводит несколько параллелей между ранними дневниками Толстого и «Исповедью» Руссо в книге «Молодой Толстой» (1922) – первом исследовании ранних дневников Толстого. Здесь и далее Эйхенбаум цитируется по: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009; о дневниках Толстого см. с. 75–100; о присутствии Руссо в дневниках – с. 87–89.

ним, а будущее, запланированное в письменном виде, уже существует. Создавая будущее прошедшее и настоящее будущее, Толстой отчасти успокаивал страх перед бесследно проходящей жизнью. Но в одном пункте его усилия не привели к желаемому результату: ему не удавалось ухватить настоящее.

## «История вчерашнего дня» (1851)

В марте 1851 года Толстой взялся за дело, которое он давно уже обдумывал: написать полный отчет об одном проживомом дне – историю вчерашнего дня. Его выбор пришелся на 25 марта: «не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен <...>, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. – Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <...> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279). Это был эксперимент: Толстой знал, что написать такую историю невозможно, и тем не менее он принялся за дело<sup>21</sup>.

Здесь впервые появляется метафора книги жизни, к которой Толстой будет возвращаться вплоть до самой смерти,

---

<sup>21</sup> «История вчерашнего дня» впервые опубликована в 90-томном собрании сочинений (1935) с комментарием А. Е. Грузинского (1: 341–343). Одним из первых обратил внимание на этот текст Виктор Шкловский, считавший его значительным для Толстого. См.: *Шкловский В.* «История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого // *Он же.* Художественная проза: размышления и разборы. М.: Советский писатель, 1959. С. 421–425; *Шкловский В.* Лев Толстой. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 75.

особенно в дневниках<sup>22</sup>.

Как оказалось, за двадцать четыре часа работы, растянувшейся на три недели, Толстой продвинулся не дальше утра. Объем текста достиг печатного листа («История...», опубликованная только после смерти Толстого, занимает около двадцати шести страниц типографского текста). На этом Толстой остановился. К этому моменту он, по-видимому, понимал, что предпринятое им дело обречено на провал не только по причине исчерпаемости материальных ресурсов («не достало бы чернил на свете <...> и типографщиков»), но также из-за ограничений, заложенных в самом процессе повествования.

«История...» начинается в самом начале дня: «Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти». За этим следует объяснение причины, соотносящее это событие с событием, произошедшим накануне: «...а все от того, что лег позже 12». Здесь рассказ прерывается замечанием (в скобках), включающим это второе событие в общую систему правил: «(Я дал себе давно правило не ложиться позже 12 и все-таки в неделю раза 3 это со мною случается)». Затем следует уточнение обстоятельств, приведших к этому поступку: «Я играл в карты» (1: 279). Этот отчет о событиях вчерашне-

---

<sup>22</sup> Метафора книги жизни имеет широкое хождение в европейской культуре. См. об этом: *Curtius E. R. Das Buch als Symbol // Idem. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter* [1948]. Auflage 11. Bern: Francke Verlag, 1993; *Blumenberg H. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981*. Об использовании этой метафоры Толстым речь пойдет в Главе 6 настоящей книги.

го дня прерывается очередным отступлением – размышлениями повествователя о том, почему люди играют в карты. Через полторы страницы Толстой возвращается к описанию карточной игры.

Повествование продвигается с трудом, толчками – не столько как рассказ о событиях и поступках, сколько как исследование умственной деятельности героя-повествователя, а именно тех размышлений, которые сопровождали как его действия, так и акт повествования о них. На последней странице неоконченной «Истории...» мы находим героя в постели – он так и остался на пороге вчерашнего дня.

Так что же такое время? В «Истории...» день начинается утром, стремительно движется к вечеру накануне и затем не спеша возвращается к начальной точке, к утру. Время течет назад, совершая круг. Толстой написал не историю вчерашнего дня, а историю позавчерашнего дня.

Эта же схема окажется в действии в 1856 году, когда Толстой начнет работу над историческим романом. По словам Толстого (в одном из предисловий к «Войне и миру»), его первоначальным замыслом было написать роман о декабристах, время действия которого происходило бы в настоящем (то есть в 1856 году), когда постаревший декабрист возвращается в Москву из сибирской ссылки. Но прежде чем приступить к делу, Толстой почувствовал необходимость прервать ход повествования: «неволью от настоящего перешел к 1825 году» (то есть к восстанию декабристов). Затем, что-

бы понять своего героя в 1825 году, он обратился к сформировавшим его событиям Отечественной войны 1812 года: «я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года» (13: 54). «Но и в третий раз я оставил начатое» – с тем, чтобы наконец остановиться на 1805 годе (начало наполеоновской эпохи в России)<sup>23</sup>.

В этом случае повествование снова двигалось не вперед, а назад. И в «Истории вчерашнего дня», этом фрагменте истории личности, и в историческом романе Толстой обратил начальный момент повествования в конечный пункт развития предшествующих событий, обусловленных причинно-следственными связями. Как казалось Толстому, когда он писал предисловие к «Войне и миру», такова неизбежная логика исторического повествования.

В «Истории вчерашнего дня» эффект преломления времени проявляется не только в сдвиге описываемого дня в сторону предшествующего. В самом описании время отнюдь не идет вперед, а расщепляется, чтобы вместить совокупность одновременных действий. Вот закончилась игра в карты. Повествователь, стоя возле стола, за которым велась игра, продолжает беседу с хозяйкой (по большей части безмолвную). Пора прощаться, но прощание дается молодому человеку тяжело – как и рассказ о прощании:

---

<sup>23</sup> Вступления, предисловия и варианты начала «Войны и мира» (не датировано) (13: 53–55). Об этих аспектах истории создания романа писал Эйхенбаум в книге «Лев Толстой: шестидесятые годы»; см.: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 460–461.

Я посмотрел на часы и встал. <...> Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть, но она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то, не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называется *charme*, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и [неразборчиво] не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал «нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться, – т. е. не весь я, а одна какая-то частица меня. – Нет ни одного поступка, который не осудила бы какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой удачный вечер? – Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. – Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я себе: тебе она вовсе не нравится и ты в неловком положении; потом, ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении...

– *Comme il est aimable, ce jeune homme.*

Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. – Я стал извиняться, что не могу, но так как для этого не нужно думать, я

продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я любил бы и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко меня звать по имени, по фамилии, и по титулу. Неужели это от того, что я..... – «Останься ужинать», сказал муж. – Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости (1: 282–283).

Этот рассказ, хотя и переданный в прошедшем времени, по памяти, близок к непосредственной записи переживаемого – он стремится быть чем-то вроде стенографического отчета о сознании человека, наблюдающего себя самого.

Можно сказать, что это поток сознания в присутствии наблюдателя.

Как внешний наблюдатель автор может только догадываться о том, что происходит в сознании его героя. Однако как историк самого себя, описывающий «задушевную сторону жизни одного дня», автор сталкивается с другой трудностью – передачей множественности внутреннего мира: расхождением между речью, мыслью и движениями тела, амбивалентностью желаний и той диалектической драмой, которая стоит за мотивами поступков. Еще одно осложнение – это расслоение «я» на героя и повествователя, действующих

в разное время. К тому же повествователь занят не только рассказом о событиях своей жизни, но и рассуждениями о самом процессе повествования, а также об общих проблемах историографии собственной личности. (А повествователь «Истории вчерашнего дня» занят этим даже тогда, когда спит.) И он то и дело сетует на то, что не все можно выразить словами. Можно ли передать такую множественность в повествовании?

# Время и повествование

Кант (которого Толстой в это время еще не читал) сожалел в «Критике чистого разума», что восприятие многообразия явлений всегда последовательно – репрезентации (представления) отдельных частей воспринимаемого следуют друг за другом. Из этого не следует, однако, что само представляемое явление также последовательно: это означает лишь то, что воспроизвести восприятие возможно не иначе как в определенной последовательности. По словам Канта, именно таким образом у нас впервые является повод составить себе понятие о причине: последовательность создает впечатление о причинности<sup>24</sup>.

Молодой Толстой предпринял попытку охватить в повествовании те явления, которые происходят как бы одновременно. Как заметил Виктор Шкловский, в «Истории вчерашнего дня» «время раздвинуто, расширено, как бы удлинено»<sup>25</sup>. В результате повествовательная ткань не выдержала, рассказ оборвался. Оказалось, что повествователь, описывающий себя самого изнутри, знает больше, чем он может рассказать. Можно ли вообще рассказать «задушевную сторону

---

<sup>24</sup> Критика чистого разума. II. 3. В («Вторая аналогия»); Kritik der reinen Vernunft. II. 3. В. (Zweite Analogie). (Я пользуюсь здесь стандартным способом цитировать «Критику чистого разума».)

<sup>25</sup> Шкловский В. Лев Толстой. С. 78.

жизни одного дня»?

У Толстого, конечно, были предшественники – его повествовательная стратегия была частично заимствована у Лоренса Стерна, который наряду с Руссо был в числе его первых учителей<sup>26</sup>. В 1851 году в дневнике Толстой назвал Стерна своим «любимым писателем» (49: 82); в 1851–1852 годах в качестве упражнения в английском языке он переводил «Сентиментальное путешествие».

Стерн – исходя из философии Локка – сделал объектом повествования сознание героя-повествователя. Локк (в отличие от Августина) надеялся, что само время может быть схвачено. В своем «Опыте о человеческом разуме» Локк вывел понятие о времени (длительности) и личности (длительности своего «я») из восприятия последовательности идей, постоянно сменяющих друг друга в сознании (включая и память о прошлом)<sup>27</sup>. Стерн, как бы следуя за этой концепцией, зафиксировал в тексте поток ассоциаций, возникающих

---

<sup>26</sup> Знакомство Толстого со Стерном (он перевел «Сентиментальное путешествие» в качестве стилистического упражнения в 1851 году) и использование приемов Стерна в ранних дневниках и в «Истории вчерашнего дня» отмечались не раз, начиная с книги Эйхенбаума «Молодой Толстой» в 1922 году. См.: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 102–105; А. Е. Грузинский, в комментарии к первой публикации «Истории...» в 90-томном собрании (1: 301 и 343); *Rudy P.* Lev Tolstoj's Apprenticeship to Laurence Stern // *The Slavic and East European Review*. 1971. № 15/2. P. 1–21.

<sup>27</sup> Здесь перефразируется «Опыт о человеческом разуме Джона Локка» (кн. II, гл. 14, § 2–3).

в повествующем сознании<sup>28</sup>.

Обратив повествование внутрь, Стерн показал, что существует психологическое время, которое отличается от хронологического времени. В соответствии со своим душевным состоянием, рассказчик Стерна отвлекается. Прибегая к ретроспекции и проспекции, комментируя самый процесс повествования, иронизируя над собой, он отступает от линейного порядка, или поступательного движения рассказа. Такая «реалистическая» передача сознания повествователя выявила изъян в аргументации Локка, а повествование потеряло традиционные очертания, приобретая экспериментальный характер<sup>29</sup>.

Повторяя повествовательные опыты Стерна, молодой Толстой получил первые уроки эпистемологии: он овладел такими понятиями, как картезианский переход к точке зрения ощущающего индивидуума, дуализм внешнего и внутреннего, а также зависимость чувства собственного «я» (самоидентичности) от способности человека охватить сознанием свое прошлое (принцип, сформулированный Локком). Более того, в процессе эксперимента, предпринятого в «Истории вчерашнего дня», Толстой столкнулся с ограничениями, наложенными на наше представление о времени самим

---

<sup>28</sup> О Стерне в связи с Локком см.: *Watt I. The Rise of the Novel*. Berkeley: University of California Press, 1957. P. 290–295.

<sup>29</sup> Об этих экспериментах Стерна см.: *Kahler E. The Inward Turn of Narrative / Trans. from German by Richard and Clara Winston*. Princeton: Princeton University Press, 1973. P. 189–196.

человеческим восприятием (о чем писал Кант). На протяжении всей жизни – даже после того, как в 1869 году (после «Войны и мира») он прочтет «Критику чистого разума» Канта, – Толстой будет бороться с этими ограничениями<sup>30</sup>.

В своих ранних дневниках и «Истории вчерашнего дня» Толстой обнаружил для себя, что истории сегодняшнего дня не существует. Настоящее отсутствует даже в такой записи, которая почти одновременна ощущению. История всегда говорит о вчерашнем дне. Более того, в своих занятиях историей личности – историей самого себя – он столкнулся с необходимостью вести учет не только последовательности событий, но и иной области – внутренней жизни. Внимание к внутренней жизни увеличило коэффициент преломления времени: за каждым событием и действием, увиденным с внутренней точки зрения, скрывается совокупность одновременно протекающих процессов. Это привело молодого Толстого к другому открытию.

---

<sup>30</sup> Принято считать, что Толстой прочел «Критику чистого разума» в 1869 году. См.: *Jahn G. R. Tolstoy and Kant // New Perspectives on Nineteenth-Century Russian Prose / Ed. by G. J. Gutschke and L. G. Leighton. Columbus, Ohio: Slavica, 1982; Kruglov A. N. Lev Nikolaevic Tolstoj als Leser Kants // Kant Studien. 2008. № 99. S. 361–386; Круглов А. Н. Л. Н. Толстой – читатель И. Канта // Лев Толстой и мировая литература: Материалы V Междунар. научной конференции. Ясная Поляна, 2008. Однако Толстой упоминал имя Канта и раньше.*

# Сон

Вернемся к сцене у карточного стола. Толстой указывает, что замечание хозяйки, «Comme il est aimable, ce jeune homme», последовало, прерывая ход его мысли, непосредственно за словами «нет, не могу». Возникает вопрос: когда (или, в пространственных терминах, где) имели место эти размышления? Возникает впечатление, что настоящий момент имеет продолжение за сценой. Со времени Августина бытовало мнение, что настоящее время не имеет продолжительности, или длины. Однако молодой Толстой обнаружил, что оно имеет глубину: жизнь обладает потаенными недрами. Одним из таких пространств был сон.

«История вчерашнего дня» заканчивается пересказом, вернее, репрезентацией сна – пограничного пространства между днями. Мы находим героя-повествователя в постели: он наблюдает за угасанием своего сознания: «я» укладывает себя спать и продолжает писать как бы под диктовку, занимаясь как самонаблюдением, так и наблюдением за процессом описания. Такого рода повествование кажется невозможным, и все же Толстой берется за него. (Если же оно осуществимо, то представляется возможным оставить рассказ о собственной смерти – и в старости, в своих поздних дневниках, Толстой не исключает такой возможности.) В «Истории вчерашнего дня» описание сна продолжает эксперимен-

тальное исследование течения времени и психического процесса, обращая особое внимание на связь между внешним и внутренним, телом и сознанием (а также подсознанием):

«Морфей, прими меня в свои объятия». Это Божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «*Quand je suis passé chez vous, vous étiez encore dans les bras de Morphée*». Она думала, что Морфей – Андрей, Малафей. Какое смешное имя!..... А славное выражение: *dans les bras*; я себе так ясно и изящно представляю положение *dans les bras*, – особенно же ясно самые *bras* – до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. – Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть! Я потянулся. Помнишь, Saint Thomas не велел вытягиваться. Он похож на Дидрихса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле станového Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колоти. Как Сережа злился. – Он у сестры. – Что за прелесть Маша – вот бы такую жену! Морфей на охоте хорош [?] бы был, только нужно голому ездить, а то можно найти и жену. – Пфу, как катит Saint Thomas – и за всех на угонках уже барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем это хорошо *dans les bras*. Тут должно быть я совсем заснул. – Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг – гора, я ее руками толкал, толкал, – свалилась; (подушку сбросил) и приехал домой обедать. Не готово; отчего? –

Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово? видят – Василий в камзоле и лента через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее, – еще больше. Василий не обращал на меня внимания и спросил: Заряжено? Кондитер Тульский Дидрихс говорит: готово! – Ну, стреляй! – Дали залп. (Ставня стукнула) – и пошли Польской, я с Василием, который уже не Василий, а она. Вдруг о ужас! я замечаю, что у меня панталоны так коротки, что видны голые колени. Нельзя описать, как я страдал (раскрылись голые [колени?]); я их во сне долго не мог закрыть, наконец закрыл). Но тем не кончилось; идем мы Польской и – Королева Виртембергская тут; вдруг я пляшу казачка. Зачем? Не могу удержаться. Наконец принесли мне шинель, сапоги; еще хуже: панталон вовсе нет. Не может быть, чтобы это было наяву; верно я сплю. Проснулся. – Я засыпал – думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно, картинно, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления (1: 291–292).

Пересказ сна дает Толстому возможность освободить повествование от последовательности и подразумеваемой причинности: текстом управляет принцип ассоциативной связи

между словами, воспоминаниями и телесными ощущениями. Исходной точкой служит фраза, вводящая тему сновидения: «Морфей, прими меня в свои объятия». Повествование развивается далее как ассоциативный ряд, начатый идиоматическим выражением *dans les bras*. Затем инициатива переходит от вербального сознания к телу: следующий ход – это произвольное движение («я потянулся»), которое вызывает детское воспоминание об указаниях гувернера («Saint Thomas не велел вытягиваться»). Здесь вступает и тема катания верхом с ее эротическими ассоциациями, которая переходит в тему охоты (в этом эротически окрашенном контексте появляется образ сестры Маши и образ Saint Thomas).

Помимо очевидных ассоциативных связей в описании сна присутствует и подпольный – бессознательный – слой: образ Saint Thomas имеет биографическую, эмоционально насыщенную подоплеку: он был французским гувернером Толстого, мечтой которого было жениться на русской барыне с состоянием; он жестоко оскорбил мальчика угрозами телесного наказания. В течение всей жизни Толстой не раз возвращался к воспоминанию об этом эпизоде<sup>31</sup>. (Эта биогра-

---

<sup>31</sup> Толстой вспоминал об угрозе порки со стороны своего гувернера Saint Thomas в дневнике 31 июля 1896 года (53: 105) и в черновике памфлета против телесных наказаний под названием «Стыдно» в 1895 году (31: 245). В заметке на полях «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым (1904), Толстой написал: «Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое я испытывал всю свою жизнь» (34: 396).

фическая подоплека выявлена исследователями Толстого<sup>32</sup>.)

Эпизод с Василием (это любимый слуга, о котором Толстой не раз вспоминал в рассказах о своем детстве) также имеет литературный подтекст. Русскому читателю памятен образ из «Капитанской дочки» Пушкина, когда юный герой, Гринев, отказывается поцеловать руку царя-самозванца Пугачева. Герой сна, напротив, со страстью подчиняется власти крестьянина в камзоле с лентой через плечо<sup>33</sup>.

Замечу, что эти эпизоды сна представляют собой богатый материал для психоаналитической интерпретации: поток ассоциаций связывает здесь серию телесных ощущений, детских воспоминаний, бисексуальных эротических импульсов и амбивалентных эмоций с темой насилия и власти, как бы показывая работу бессознательного. В этом нет ничего удивительного: ключевые понятия психоанализа были предвосхищены в романтической философии и в литературе<sup>34</sup>. Но для Толстого бессознательное не является главным предметом интереса.

---

<sup>32</sup> Шкловский В. Лев Толстой. С. 79. О появлении имени Saint Thomas в произведениях Толстого см. также комментарии к юбилейному изданию (53: 453, примеч. 385).

<sup>33</sup> Связь с «Капитанской дочкой» также отмечена Шкловским: Шкловский В. Лев Толстой. С. 79. Шкловский заметил, что в анализе сна Толстой, говоря о «задушевной» стороне дня, пришел к вопросу о «подсознательном» (Шкловский В. История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого. С. 421–425).

<sup>34</sup> Об этом см.: Ellenberger H. The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books, 1970. P. 205.

Вернемся к анализу повествования. В тот момент, когда сон, проделав круг, возвращается к начальной формуле, dans les bras, сознание наконец отключается: «Тут должно быть я совсем заснул». Однако повествование продолжается.

Логика сновидения, сходная с тем ассоциативным повествовательным строем, который описал Локк и воплотил в своей экспериментальной прозе Стерн, существенно отличается от кантовского порядка, используемого в традиционном нарративе, – порядка, в котором гарантом выступает разум.

Во второй части описания сна Толстой идет дальше Локка и Стерна. Соотнося образы сна со внешними стимулами (гора свалилась – подушку сбросил; дали залп – ставня стукнула), он ставит под сомнение повествовательную логику, построенную на причинно-следственных связях и линейной временной последовательности. Во сне человеческое сознание, освобожденное от принуждений здравого смысла, смешивает внешние впечатления с порождениями воображения, выстраивая сюжеты, двигателем которых является не разум.

В нескольких случаях сознание во сне перестраивает временной и причинно-следственный порядок. Далее в «Истории вчерашнего дня» Толстой описывает такой тип сновидений:

вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь,

прицеливаетесь, стреляете и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне (1: 293).

В реальном времени выстрел (внешнее событие) служит тем толчком, который запускает повествовательное сознание; во времени сновидения, напротив, выстрел завершает целый ряд событий, описанных задним числом. Повествование построено ретроспективно. Как и в общей временной схеме «Истории вчерашнего дня», время сновидения движется из настоящего (исходное внешнее событие) в прошлое, чтобы затем возвратиться к начальному событию и совпасть с настоящим в момент пробуждения. Следствие оказывается предпослано причине. Более того, поскольку момент пробуждения совпадает с исходным толчком, действие (как и в случае разговора возле карточного стола) происходит как бы за пределами наблюдаемого, в потаенных недрах времени. Недоступные традиционным повествовательным структурам, такие недра – «задушевная сторона» жизни каждого дня – оказались доступными другому типу сознания и другому типу повествования: сну.

\* \* \*

Существовали культурные прецеденты и параллели для такого подхода. Так, Карл Густав Карус в известном романтическом (и Достоевскому) трактате «Психея» (1846) утвер-

ждал, что ключ к «сознательной жизни души» лежит «в области бессознательного», проявляющегося во снах и в состоянии между сном и бодрствованием<sup>35</sup>.

Во второй половине девятнадцатого века появился целый ряд естествоиспытателей, исследовавших сны: стремясь прояснить связи между внешними стимулами и образами снов, они производили наблюдения над своими собственными снами (стараясь наблюдать за собой даже и в самом процессе сна).

Сновидения типа описанного Толстым были зафиксированы этими естествоиспытателями под названием «ретроспективные сновидения». Таков сон о Французской революции, который Альфред Мори описал в популярной книге «Сон и сны» («Le sommeil et les rêves», 1861). Во сне Мори присутствовал при революционных событиях, встретился с Робеспьером и Маратом и сам пал жертвой террора: будучи приговорен к смертной казни, он взшел на эшафот, положил голову под нож гильотины и почувствовал, как голова его отделяется от туловища. В этот момент он проснулся – чтобы обнаружить, что упавшая спинка кровати удари-

<sup>35</sup> Историки связывают идею бессознательного в трактате Каруса «Душа» («Psyche; zur Entwicklungsgeschichte der Seele», 1846, 1851) с Фрейдом (через посредство Эдуарда фон Гартмана и Шопенгауэра). См.: *Ellenberger H. The Discovery of the Unconscious. P. 207–210.* В этой связи Элленбергер упоминает и об исследователях снов в XIX веке (P. 303–311). Джеймс Л. Райс пишет о том, как литература в эпоху Достоевского использовала Каруса, включая его обсуждения снов: *Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art. An Essay in Literary and Medical History. Ann Arbor, MI: Ardis, 1985. P. 137–142, 152.*

ла его по задней части шеи. Широко известен был сон Наполеона, пересказанный А. Гарнье в его «Трактате о свойствах души...» («*Traité des facultés de l'âme, contenant l'histoire des principales théories psychologiques*», 1852). Однажды в коляске по пути в оперу Наполеону снилось, что он вновь пересекает реку Тальяменто; в тот момент, когда в соответствии с сюжетом сна (и реальным эпизодом итальянской кампании) австрийцы начали обстрел, его разбудил взрыв бомбы на улице. Интересно, что именно история – Французская революция и наполеоновские войны – составила материал этих широко известных ретроспективных сновидений<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Снам посвящены следующие книги: *Maury L.-F.* Alfred. *Le sommeil et les rêves*. Paris, 1861 (изданию книги предшествовали публикации отрывков в медицинском журнале «*Annales médico-psychologiques*» в 1848 и 1853 годах); *Garnier A.* *Traité des facultés de l'âme, contenant l'histoire des principales théories psychologiques*. Paris, 1852; *Anonyme* [Marquis d'Hervey de Saint-Denis]. *Les rêves et les moyens de les diriger*. Paris, 1867; *Hildebrandt F. W.* *Der Traum und seine Verwertung für's Leben*. Leipzig, 1871, 1881; *Volkelt J.* *Die Traumphantasie*. Stuttgart, 1875. Карл Дюпрель предложил философское и мистическое истолкование ретроспективных сновидений (как выхода в иную меру времени, чем та, что доступна сознанию): *Du Prel C.* *Die Philosophie der Mystik*. Leipzig, 1885. Позже сообщения о подобных снах были подвергнуты сомнению в некоторых исследованиях: *Lorrain J.* *De la durée du temps dans les rêves* // *Revue philosophique*. 1894. Т. 38; *Egger V.* *La durée apparente des rêves* // *Revue philosophique*. 1895. Т. 40; *Tobowolska J.* *Etude sur les illusions de temps dans les rêves du sommeil normal*. Paris, 1900. Фрейд в «Толковании сновидений» (1900) обсуждает такие сны как специфические нарушения мыслительного процесса и приводит библиографию по этому вопросу. Фрейд несколько раз упоминает сон Мори о гильотине и сон Гарнье о переходе через реку Тальяменто (см.: *Freud S.* *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud* / Trans. from German and ed. by James Strachey. Vol. 4. L.: Hogarth Press, 1953. P. 26–29 et passim). Среди фило-

Едва ли возможно, что Толстой в 1851 году знал об этих исследованиях сновидений; скорее всего, он вывел принцип обратной временной перспективы и вывернутую повествовательную логику сновидения из личного опыта. Это открытие заключало в себе огромный потенциал, и в поздних дневниках Толстой будет еще обращаться к этой теме, по-разному осмысляя свои наблюдения.

В 1851 году в «Истории вчерашнего дня» молодой Толстой истолковал обнаруженное им явление как психологический феномен, который имеет прямые последствия для задачи описания форм человеческого сознания. Логика сновидения и традиционное повествование опирались на различные представления о времени. Как заметил Толстой в «Истории вчерашнего дня», многие люди (включая его самого) склонны представлять подобные сновидения в пересказе как логически связную структуру с линейным временным развитием. Причина этого заключается, по словам Толстого, в при-

---

софов времени о ретроспективных сновидениях писал Анри Бергсон в книге «Le gêve» (1901) и, в России, Павел Флоренский в «Иконостасе» (1922). Для Флоренского время сновидения представляло собой иллюстрацию принципа относительности времени и свидетельствовало о присутствии трансцендентного в человеческой жизни (Флоренский П. Собр. соч. Т. 1. Париж, 1985. С. 194–202). (Флоренский упоминает Дю Преля, но не тот факт, что между положениями Дю Преля и его собственной концепцией имеется большое сходство.) См. также замечания о времени в сновидениях у современного исследователя: Успенский Б. А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема) // Труды по знаковым системам. Вып. 22. Тарту, 1988. О снах и исследованиях снов речь еще пойдет в Главе 6 настоящей книги.

вычке «к последовательности и к той форме времени, в которой проявляется жизнь» (1: 293). (Здесь молодой Толстой рассуждает в терминах, близких к Канту.) В то время как в самом сновидении сознание – как будто в одно мгновение – задним числом порождает целый ряд событий, с тем чтобы объяснить себе исходное впечатление, в воспоминании и изложении сна сознание выстраивает этот причудливый ряд происшествий в линейную последовательность.

\* \* \*

Через десять лет, работая над «Войной и миром», Толстой переосмыслил открытия «Истории вчерашнего дня», подходя к ним с точки зрения историографии. Размышляя о том, как изображаются исторические события, он утверждал (в заметке «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“»), что ложь наличествует в любом словесном изложении. Так, он писал о «необходимости лжи, вытекающей из потребности в нескольких словах описывать действия тысяч людей, раскинутых на нескольких верстах» (16: 10). Тот, кто хочет узнать, «как было дело», обменивает свое собственное «бесконечно разнообразное» и «неясное впечатление» на «лживое, но ясное <...> представление» (16: 10–11). Одни превращают «бесконечно разнообразные» впечатления в стройное линейное изложение; другие же задним числом подыскивают объяснения событиям. Толстой руко-

водствовался здесь своими «психологическими наблюдениями». То, что затрудняет доступ к действительности (к тому, «как было дело»), – это «способность человека ретроспективно подделывать мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных умозаключений» (16: 15)<sup>37</sup>. Как писал Шкловский, в «Войне и мире» Толстой возвратился к «психологии сна, подделывающего причины»<sup>38</sup>. (В самом романе Толстой дает примеры разного рода ложных повествований, искажающих имевшие место события<sup>39</sup>.)

Итак, в «Войне и мире» Толстой, с одной стороны, не доверяет способу чистого разума, описанному Кантом, – правилу последовательности, которое ведет к представлению о причинности. С другой – он относится с подозрением к способности людей ретроспективно «подделывать» причину. (Он как будто подозревает, что история, подобно ретроспективным сновидениям, представляет собой реконструкции прошлого, имеющие целью объяснить настоящее.)

Так, в своих размышлениях по поводу «Войны и мира» в 1860-е годы Толстой обратил осуществленный им в «Истории вчерашнего дня» опыт самонаблюдения (истории себя самого) в философию исторического повествования, приме-

---

<sup>37</sup> Все цитаты из «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» (1867–1868) (16: 7–16).

<sup>38</sup> См.: Шкловский В. Лев Толстой. С. 292.

<sup>39</sup> О разных типах ложных исторических повествований в «Войне и мире» писал Морсон: Morson G. S. Hidden in Plain View: Narrative and Creative Potentials in War and Peace. Stanford: Stanford University Press, 1987.

нимую к истории нации.

Заметим, что в старости, в поздних дневниках, Толстой вернется к теме ретроспективных сновидений и воспользуется своими наблюдениями в борьбе с метафизикой конечности.

## **«Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность»**

Молодой Толстой использовал свой дневник для того, чтобы «судить о ходе своего развития», и для «усовершенствования самого себя» (46: 29).

В июле 1854 года он решил подвести итог своему положению. Он спросил себя: «Что я такое?» Это был вопрос о его «личности» – о развитии характера в связи с семейными и биографическими обстоятельствами и социальным положением.

7-го июля [1854]. <...>

Что я такое? Один из четырех сыновей отставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведенный лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное – привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и Командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства,

которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение.

Посмотрим, что такое моя личность. —

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. – Я раздражителен, скучен для других, нескромнен, нетерпим (intolérant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. – Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. – Я умен, но ум мой еще ни на чем никогда не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. – Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью – первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них. –

Да, я нескромнен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете. – (47: 8–9).

В этом отчете (как и в каждодневных записях, нацелен-

ных на фиксацию того, в чем настоящее расходилось с желаемым) молодой Толстой в основном оценивал себя негативно. Своей главной проблемой он считал тщеславие и честолюбие. В одной записи он определил тщеславие как «моральную болезнь»: «вроде проказы <...> она понемногу и незаметно вкрадывается и потом развивается во всем организме <...> – она как венерическая; ежели изгоняется из одной части, с большей силой проявляется в другой» (46: 94–95). В течение всей дальнейшей жизни Толстой тяготился сознанием своего тщеславия; в течение всей жизни он испытывал отвращение перед своими (сильными) сексуальными желаниями.

В то время, когда он сделал это самоотчет, Толстой служил в армии на юге России (через несколько месяцев, в ходе Крымской войны, он будет переведен в Севастополь и примет участие в боевых действиях). Он снова лечился от венерического заболевания; он все еще играл в карты (и проигрывал) и все еще пытался исправить свое поведение с помощью системы правил, отмечая в дневнике, согласно франклиновскому методу, свои нравственные слабости и проступки. Он записал в дневнике свою «молитву», или символ веры: «Верую в единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю верить в религию отцов моих и уважать ее». Он просил Бога: «Помоги мне исправляться от пороков моих» (47: 12). (Подобно Руссо, молодой Толстой составил свою собственную

молитву.) Годом позже Толстой (как и Руссо) проникся идеей основания новой религии – «соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (47: 37, 4 марта 1855). (И к этому желанию Толстой возвращался в течение дальнейшей жизни.)

В своем стремлении к самоусовершенствованию Толстой следовал за длинной традицией. Вопрос «Что я такое?» (как и вопрос «Что же такое время?») имел историю.

# Что я такое? Культурные прецеденты

В своей склонности к самонаблюдению и самоанализу Толстой во многом следовал за Руссо<sup>40</sup>. (В течение всей жизни он также следовал за Руссо в активной нелюбви к прогрессу.) Он охотно признавал, что отождествлял себя с Руссо, которого впервые прочел в пятнадцать лет и много раз перечитывал. Толстой однажды сказал: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая „Словарь музыки“. <...> Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам» (46: 317–318)<sup>41</sup>.

Что касается Лоренса Стерна, у которого Толстой заимствовал технику ассоциативного повествования, воспроизводящего работу воспринимающего сознания, то он сам написал многие страницы Стерна – в 1851 году он переводил «Сентиментальное путешествие» на русский язык<sup>42</sup>.

У Бенджамина Франклина Толстой заимствовал его зна-

---

<sup>40</sup> О том, как Толстой читал Руссо, подробно рассказано в: *Полосина А. Н.* Французские книги XVIII века яснополянской библиотеки – как источник творчества Л. Н. Толстого. М.: Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 2008. С. 83–169. На связь ранних дневников с Руссо впервые указал Эйхенбаум: см. сноску 3 на с. 28 настоящей книги.

<sup>41</sup> Из разговора Толстого с французским посетителем Полем Буайе в 1901 году; цит. по комментарию к 90-томному собранию (впервые опубликовано в газете *Le Temps*. 1901. 28 Aout).

<sup>42</sup> Об исследованиях связей между Толстым и Стерном см. сноску 3 на с. 28 настоящей книги.

менитый метод самосовершенствования на основе ведения журнала<sup>43</sup>.

Непосредственные источники молодого Толстого были светскими (как он позже с сожалением отметит в одном из черновых вариантов «Исповеди») (23: 490). За этими источниками стояла, однако, религиозная подоплека. Так, методичку Франклина считают секуляризованным вариантом пуританского идеала самопреобразования в контакте с Богом, которая породила целую культуру дневников в Англии и Америке XVII и XVIII века. За идеалами самонаблюдения Руссо стояла августинская традиция самопогружения, секуляризованная в духе идеалов Просвещения<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Об использовании Толстым Бенджамина Франклина писали Эйхенбаум в книге «Молодой Толстой» (см. *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 83) и Шкловский (см. *Шкловский В.* Лев Толстой. С. 73). Исследователи считают, что Толстой узнал о Франклине из популярного русского романа Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских» (1832), герой которого прибегает к франклиновскому методу в целях самосовершенствования, что подробно описано в главе 12. Много позже, в 1891 году, Толстой упомянул этот роман (наряду с «Исповедью» Руссо и «Сентиментальным путешествием» Стерна) среди книг, которые произвели на него огромное впечатление в ранней юности, между четырнадцатью и двадцатью годами (66: 67). Любопытно, что в дневнике Толстого фигурирует его приятель Бегичев, имя которого он упоминает на тех же страницах, что и свой франклиновский журнал (46: 48–49). Согласно недавней биографии Толстого, это племянник автора романа «Семейство Холмских». См.: *Зверев А., Туниманов В.* Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 58. О Толстом и Франклине см. также: *Алексеева Г. В.* Американские диалоги Льва Толстого. Тула, 2001. С. 27–32.

<sup>44</sup> Об этом см.: *Weintraub K. J.* The Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography. Chicago: The University of Chicago Press, 1978. P. 230–231, 251–

В распоряжении молодого Толстого имелись и другие источники. Одним из них был дидактический трактат Иоанна Масона «Познание самого себя» («Self-Knowledge», 1745), который широко использовался по всей Европе, включая и Россию, в качестве практического руководства к самовоспитанию. В библиотеке Толстого имеется англоязычный экземпляр этой книги издания 1818 года<sup>45</sup>. В России в конце XVIII и начале XIX века этот трактат имел широкое хождение в масонских кругах; он оказал ощутимое влияние на бытовую культуру самоанализа, развившуюся в контексте русского сентиментализма. Написанные под непосредственным влиянием этого трактата дневники молодого Василия Жуковского (1804–1806) в некоторых своих чертах обнаруживают поразительное сходство с дневниками молодого Толстого, написанными на полстолетия позже<sup>46</sup>. (Это вовсе не

---

256, 299–301, 320–321. Вейнтрауб называет Франклина «пуританской личностью без пуританских мотиваций и целей» (Р. 251), а также пишет об «Исповеди» Руссо как попытке секуляризовать идею Августина (в его «Исповеди») о взаимоотношениях между своей душой и бесконечностью Бога (Р. 300).

<sup>45</sup> *Mason J. A Treatise on Self-Knowledge. London: R. Reynolds and C. Baldwyn and Co, 1818.* Экземпляр в библиотеке Толстого содержит отметки читателя, но неясно, кому именно они принадлежат. Указано в: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Т. 3. Тула, 1999. № 2184.

<sup>46</sup> Василий Жуковский (род. 1783) спрашивал себя в дневниках 1804–1806 годов: «Каков я? Что во мне хорошего? Что худого? <...> Что можно приобрести и как? Что должно исправить и как? <...>». Обсуждению этих вопросов он уделял много места в своем журнале, где помещалось также расписание занятий на день. Однако сходство с дневниками молодого Толстого этими чертами и ограничивается. Так, Жуковского не интересовала проблема времени и повествования,

удивительно: молодому Толстому, как отмечали исследователи, было свойственно обращаться за образцами не к своим современникам, а к позднему XVIII веку<sup>47</sup>.)

Масон заимствовал конкретные принципы, методы и формулировки из различных источников, от Сократа и стоиков

---

которая занимала Толстого. О дневниках Жуковского писала Лидия Гинзбург, которая указывает как возможный источник такого метода самоанализа трактат Иоанна Масона «Познание самого себя» (*Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Худ. лит., 1977. С. 39–45*). Я. С. Янушкевич (в научном издании дневников Жуковского) также упоминает Масона и пишет о влиянии Франклина на Жуковского в: *Янушкевич Я. С. Дневники В. А. Жуковского как литературный памятник // Полное собрание сочинений и писем В. А. Жуковского: В 20 т. Т. 13. М.: Языки славянских культур, 1999*). Янушкевич (вслед за Гинзбург) полагает, что Иоанн Масон (и Франклин) попал к русскому читателю через посредство среды русских масонов в конце XVII – начале XIX века. Некоторые исследователи называют также Иоанна Масона и его трактат масонским текстом. (Мне не удалось найти подтверждения, что это масонский трактат.)

<sup>47</sup> Исследователи Толстого, начиная с Эйхенбаума («Молодой Толстой»), писали, что в юности Толстой сознательно следовал за авторами XVIII века, отвергая как своих непосредственных предшественников, романтиков, так и современников. (Может быть, на его выбор оказал влияние и состав яснополянской библиотеки, собранной его дедом и отцом и полной книг XVIII века.) Георгий Флоровский писал о том, что для молодого Толстого важен был сентиментализм как религиозно-психологическое движение (о дневниках молодого Толстого он замечает, что «точно писал их кто-то из сверстников Жуковского»). Как пример такого сентиментализма Флоровский называет «Ночные размышления» Юнга, а также пиетистов, которые оказали влияние также на Гете и Руссо. Руссо он называет «обмирщенным пиетистом». «Это было пробуждение сердца, открытие внутреннего мира, открытие душевной глубины в повседневной, домашней, семейной жизни. И книги сентиментальных писателей получали смысл религиозного благовестия» (*Флоровский Г. В. У истоков [1936] // Лев Толстой: Pro et contra. С. 678*).

(Марка Антония, Плутарха, Эпиктета, Сенеки) до Нового Завета и Августина, а в Новое время Локка (его рассуждения о памяти и ассоциативной связи идей), Ричарда Бакстера и Эдуарда Юнга (его «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии»). Для Масона самопознание является частью непрерывной традиции, которая простирается от «древних» до «новых» авторов. Более того, он видел своей задачей «перевести» принцип «Познай самого себя», предложенный древними, на язык Нового Завета и соотнести его с современной ему поэтической идиомой. При этом Масон предлагает своему читателю конкретные методы: «Читатель! Прodelай следующий опыт: войди в себя <...> и испытай: Что я такое? Для чего я создан? <...> Что я сделал во всю жизнь мою? <...> В таком ли я состоянии, в каком бы желал умереть?» Такие упражнения в самопознании (их рекомендовалось производить в течение каждого дня утром и вечером) служат постоянным приготовлением к смерти и к Богу<sup>48</sup>.

Как мы видели, когда Толстой спрашивал себя в 1854 году: «что я такое?», он искал ответы в основном психологического, а не религиозного характера. В двадцать пять лет он еще не был занят ежедневным приготовлением к смерти (это придет после пятидесяти). И все же, читая Руссо, Франклина или Масона (если он пользовался этой книгой), молодой Толстой приобщался к той светской культуре самопознания,

---

<sup>48</sup> *Mason J. A Treatise on Self-Knowledge. P. 4–7, 200–201.*

которая имела ощутимую религиозную подоплеку.

\* \* \*

Что же такое дневники Толстого и его «История вчерашнего дня»? Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский, влияние которых на наши представления о Толстом ощутимо по сей день, писали о дневниках молодого Толстого и его «Истории вчерашнего дня» как о лабораториях, где вырабатывались метод и приемы его будущих литературных произведений. По словам Эйхенбаума, дневник молодого Толстого – это «сборник литературных упражнений и литературного сырья»<sup>49</sup>. В первую очередь он имеет в виду метод изображения душевной жизни. (Вслед за Николаем Чернышевским Эйхенбаум описал толстовский метод как «диалектику души»<sup>50</sup>.) Существуют и другие исследования ранних дневни-

---

<sup>49</sup> Такой подход к ранним дневникам Толстого преобладает у Эйхенбаума в книгах «Молодой Толстой» (1922) и «Лев Толстой. Пятидесятые годы» (1928) (см. *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 162. См. также с. 85, 95–96, 166). Шкловский также видел в дневниках молодого Толстого прообраз его будущей прозы. Об «Истории вчерашнего дня» Шкловский сказал: «Если бы Толстой дописал свою вещь, то перед нами получилась бы книга, какую писал Джойс через много десятилетий после. Толстой готовил черновик, содержащий анализ части сознания» (*Шкловский В.* «История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого. С. 421. Об этом также: *Он же.* Лев Толстой. С. 73–84).

<sup>50</sup> Формула «диалектика души» восходит к рецензии Н. Г. Чернышевского на «Детство», «Отрочество» и «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» в 1856 го-

ков Толстого как литературного текста<sup>51</sup>.

Во многом воспользовавшись замечательными наблюдениями Эйхенбаума и Шкловского, в этой книге я тем не менее предлагаю другой подход: рассмотреть дневники и «Историю» как отдельный и самоценный проект – попытку писать не литературу, а книгу жизни, создать такую словесную репрезентацию своей внешней (событийной) и внутренней жизни, которая была бы адекватной процессу протекания времени и психическому процессу. Для молодого Толстого эта задача имела явную нравственную и метафизическую ценность. В рамках такого подхода дневники поздних лет Толстого, написанные после того, как он сознательно отказался от литературы и литературности, оказываются частью того же проекта. Как попытка сплошной текстуализации жизни этот проект был обречен на неудачу, но сама попытка оказалась плодотворной даже на ранних стадиях.

В ранних дневниках Толстой следовал двум разным стратегиям, которые перемежались и соперничали друг с другом. В дневниках и журналах молодой Толстой стремился подчинить свою жизнь повествовательному (темпоральному) и

---

ду; см. об этом: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 112–113.

<sup>51</sup> Среди исследований, посвященных дневникам Толстого, следует особо упомянуть неопубликованную диссертацию: *Gurley R. E.* The Diaries of Leo Tolstoy: Their Literariness and Their Relationships to his Literature. University of Pennsylvania, 1979 (акцент здесь делается на их литературности). Морсон сделал замечания о своеобразной ситуации поздних дневников Толстого как коммуникативного акта (*Morson G. S.* Hidden in Plain View. P. 29–32).

нравственному порядку. Его цель – и упорядочить свою рассеянную жизнь, и закрепить на письме ускользающую сущность ежедневного опыта.

В «Истории вчерашнего дня» он ставит себе целью передать свою жизнь таким образом, чтобы преодолеть заложенные в повествовательной форме ограничения – принцип временной последовательности, логику причины и следствия, необходимость связности и концовки, а также разделение между субъектом и объектом описания. Но в конечном счете все расширяющийся поток сознания (и подсознания) размывает повествование. Границ же сознания Толстой перейти не сумел: оно преследует писателя даже во сне (засыпая, он не прекращает выстраивать текст).

И все же текст его ранних дневников и «Истории вчерашнего дня» кажется более адекватным жизни в той форме, в которой человек познает ее в опыте, – как нечто отрывочное, непоследовательное и всегда неполное<sup>52</sup>.

Такой текст открывает возможность для альтернативной метафизики повседневности и альтернативной философии истории.

---

<sup>52</sup> Ср. наблюдения Поля Рикера о повествовательной структуре психоаналитических интервью: «A history that would remain inconsistent, incoherent, or incomplete would clearly resemble what we know of the course of life in ordinary experience» (*Ricoeur P. The Question of Proof in Freud's Psychoanalytic Writings // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1977. № 25, 4. P. 862*).

# **Интерлюдия: Документальное письмо или художественная литература?**

*Толстой переходит от дневника к литературе (1852) – «И, кажется, больше никогда писать не буду»: Толстой отрекается от литературы (1859) – «О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от литературы*

## Толстой переходит от дневника к литературе (1852)

В 1851–1852 годах Толстой перешел от интенсивного писания дневника к художественной прозе и к авторству<sup>53</sup>. В ноябре 1851 года Толстой (он жил тогда на Кавказе, пытаюсь поступить на военную службу) писал Т. А. Ергольской (по-французски): «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы [faire des romans]; так вот я и послушался вашего совета – мои занятия, о которых я вам говорю – литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (59: 117). Результатом этой работы стали написание и издание повести «Детство», и ее успех заложил основу карьеры Толстого-беллетриста.

Если рассмотреть «Детство» (написанное летом 1851 года) бок о бок с «Историей вчерашнего дня» (март 1851 года), то «Детство» – это частичное подчинение конвенциям и ограничениям художественной прозы. «История вчерашнего

---

<sup>53</sup> Идея «перехода» от дневника и «Истории вчерашнего дня» к литературе принадлежит Борису Эйхенбауму: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009. С. 102–113, 167–176, 189–200. Шкловский в своей биографии Толстого следует за Эйхенбаумом: *Шкловский В.* Лев Толстой. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 73–122, 136–144.

дня» выросла из дневника молодого Толстого и была экспериментальной попыткой описать все «впечатления и мысли, которые проходят в один день» – попыткой, предпринятой без интенции писать литературу. «Детство» было результатом сознательной литературной работы, с мыслью о возможной публикации.

Более того, несмотря на автобиографическую форму повести (повествование от первого лица и биографический сюжет), Толстой не думал о «Детстве» как об истории собственной жизни. Он горько жаловался на то, что редакция «Современника» заменила заглавие «Детство» на «История моего детства»: «Кому какое дело до Истории моего детства?» (59: 214). Согласно первоначальному плану, «Детство» было первой частью большого романа, «Четыре эпохи развития», и он планировал написать также «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Но и условный автобиографизм так стеснял Толстого, что он не мог продолжать. Он писал своему редактору Н. А. Некрасову: «принятая мной форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей <...> стесняют меня» (59: 202, 15 сентября 1852). Толстой попытался создать дистанцию между собой и своим героем. Через несколько месяцев он записал в дневнике: «Я могу писать про него, потому что он далек от меня» (46: 150–151). В конце концов Толстой написал «Отрочество» и «Юность», но оставил неосуществленным план четвертой части, которая закончилась бы сегодняшним днем героя-по-

вествователя.

Как считают исследователи, первое художественное произведение Толстого носит следы автобиографического и, более того, дневникового письма. Написанное от первого лица, «Детство» охватывает два дня в жизни героя-повествователя шаг за шагом, начиная с вставания с постели. И образ героя, и сюжет остаются неразвитыми. Более того, повесть заключает в себе подлинный материал из жизни Толстого. Однако это не автобиография, а псевдоавтобиография: повествователь и автор – это не одно и то же лицо<sup>54</sup>. Только наивный читатель (включая и тетюшек Толстого) отождествлял повествовательное «я» с автором. Сам Толстой считал «Детство» не автобиографией, а художественной автобиографией, то есть литературным произведением в автобиографической форме. Один из исследователей Толстого так описал ситуацию: «Конвенции романа по крайней мере предоставляют автору запасной выход: лестницу, по которой автор может по собственной воле войти и выйти из своего произведения»<sup>55</sup>. В своей первой повести Толстой начинает строить

---

<sup>54</sup> Эндриу Барух Вахтель подробно анализирует «переходный» жанр «Детства», и я следую за его анализом: *Wachtel A. B. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth*. Stanford: Stanford University Press, 1990. P. 7–57. См. также: *Wachtel A. B. History and Autobiography in Tolstoy // The Cambridge Companion to Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 176–190.

<sup>55</sup> *Bayley J. Tolstoy and the Novel*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. P. 86.

такие подмости – повествовательную структуру, с помощью которой он может выйти из своего произведения. Несмотря на явные следы автобиографического (и даже дневникового) письма, повествовательное «я» – это не «я, Лев Толстой».

Опубликованная в сентябрьском выпуске «Современника» за 1852 год, повесть «Детство», подписанная инициалами, привлекла внимание к неизвестному автору. Тем временем молодому Толстому удалось вступить в армию, а после начала Крымской войны он оказался в центре боевых действий. Тем не менее он работал над продолжением, и «Отрочество» вышло в 1854 году. В 1855 году в «Современнике» начинает печататься серия его художественных очерков – «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», привлекая все большее внимание. По жанровой принадлежности «Севастопольские рассказы» (или, как их называет Эйхенбаум, «Севастопольские очерки») «находятся на границе между репортажем и художественной прозой»: герои явно вымышленные, но читатель знает, что за ними стоит автор, который мог бы сказать: «я там был». (Причем Толстой экспериментирует с позицией от первого, третьего и даже второго лица.) Более того, рассказы оформлены как хроники, правда не дня, но месяца<sup>56</sup>. «Севастопольские рассказы» несут следы дневникового повествования.

Когда в 1855 году, после окончания войны, Толстой при-

---

<sup>56</sup> *Wachtel A. History and Autobiography in Tolstoy. P. 176.*

был в Петербург, в тесном кругу русских авторов он был принят как состоявшийся писатель. В 1856 году в журнале «Современник» была напечатана статья ведущего критика Николая Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах», которая много способствовала репутации молодого автора. В 1857 году вышла повесть «Юность». В том же году Толстой предпринял путешествие по Франции, Швейцарии и Германии (включая и пешеходную экскурсию по стопам Руссо). Все это время он продолжал литературную работу. При этом после 1857 года Толстой все реже и реже писал в своем дневнике.

## «И, кажется, больше никогда писать не буду» (1859): Толстой отрекается от литературы

Весной 1859 года Толстой принял внезапное решение отказаться от литературы; он покинул Петербург и поселился в своем имении Ясная Поляна. Толстой переживал кризис. (Такие кризисы будут происходить на протяжении всей его жизни<sup>57</sup>.) Толстой описал свое состояние – острое чувство религиозного и морального тупика – в письме к двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой. Он начал с попытки исповедания веры:

Убеждения человека, – не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, – трудно понять другому, и вы не знаете моих. <...> Попробую, однако, сделать мою profession de foi... (60: 293).

Он пишет об отпадении от веры (в возрасте четырнадцати лет) и об открытии (на Кавказе, где он жил в 1851–1854 годах), «что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого» (60: 293, апрель – май 1859). (В это время, как

---

<sup>57</sup> Идея повторяющихся кризисов также восходит к Эйхенбауму, впервые в: *Эйхенбаум Б. М. О кризисах Толстого // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л.: Academia, 1924. С. 67–72.*

мы знаем из его дневника, Толстой читал «Исповедание веры савойского викария» даже за обедом<sup>58</sup>.) Он пишет о своем отчаянье: «Жить незачем. Вчера пришли эти мысли с такой силой. <...> Кому я делаю добро? кого люблю? Никого!» И тут же добавляет: «Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы» (60: 294). От экзистенциального отчаянья он переходит к теме литературы: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана <...>» (60: 295). Толстой имеет в виду повесть «Семейное счастье». В тот же день в письме к критику Василию Боткину он пишет о своей повести с тем же чувством отвращения и отчаянного стыда (используя идиоматику, уместную только при обращении к мужчине): «Василий Петрович! Василий Петрович! Что я наделал с своим „Семейным счастьем“. Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры <...> я увидал, какое постыдное гавно, пятно, не только авторское, но человеческое – это мерзкое сочинение» (60: 296). Остается неясным, почему Толстой называет книгу «моя Анна» – героиню «Семейного счастья» зовут Мария<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Из дневника за сентябрь 1853 года, 46: 176. Отмечено в: *Полосина А. Н.* Французские книги XVIII века яснополянской библиотеки как источник творчества Л. Н. Толстого. М.: Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького, 2008. С. 121–122.

<sup>59</sup> В дневнике Толстой писал: «Кончил Анну, но нехорошо» (48: 20, 9 апреля

По жанровой принадлежности «Семейное счастье» (1859) можно считать традиционным романом (хотя и коротким): в отличие от «Детства», «Отрочества» и «Юности», здесь имеются и герои, и традиционный сюжет семейного романа, и динамика утраченных иллюзий и примирения с жизнью. «Семейное счастье» – как и «Детство», «Отрочество» и «Юность» – написано от первого лица, но в этом случае Толстой не оставляет читателю никаких сомнений в том, что повествователь – это не автор («я» – это не Лев Толстой): роман написан от лица женщины. (В 1863 году Толстой написал повесть от лица лошади, «Холстомер», опубликованную только в 1885 году.) Воспользовавшись этим искусственным приемом, Толстой решительно отделил собственное «я» от условного «я», показав таким образом, что пишет литературу, но когда прочел корректуры, то со стыдом почувствовал искусственность формы и неловкость языка. (В более поздние годы Толстой описал «чувство эстетического стыда», которое он в сильнейшей степени испытывал «при художественной лжи»<sup>60</sup>.)

Вскоре Толстой не только сообщил друзьям, что он, «кажется», больше никогда не будет писать, но и объявил о своем «отречении от литературы». Он писал Афанасию Фету: «Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женят-

---

1859).

<sup>60</sup> Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М.: Худ. лит., 1959. С. 81. (Гольденвейзер рассказывает здесь о разговоре с Толстым в 1901 году.)

ся, а я буду повести писать „как она его полюбила“. Глупо стыдно» (60: 307, октябрь 1859). Он писал Борису Чичерину: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. <...> Я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне» (60: 315, октябрь – ноябрь 1859). (В том же письме он упомянул: «Хотел я было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочих, но на этом месте 3-го дня помешали мне <...>» [60: 316].) Через несколько месяцев он вновь объяснял Чичерину: «Самообольщения же так называемых художников <...> есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их – скверно, ничтожно, может быть, есть уродство и пакость...» (60: 327, 1 марта 1860). Он также отказался от участия в только что созданной организации для помощи писателям, Литературном фонде.

Что же делать? Ответ казался ясным: пахать землю и учить детей. Толстой решил жить в деревне и заниматься хозяйством и школой для крестьянских детей. Он писал Василию Боткину: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики» (60: 247, 4 января 1857)<sup>61</sup>. (Теперь – то есть в период подготовки реформ.) Тем не менее в это письмо была вложена небольшая художественная вещь, на-

---

<sup>61</sup> Эйхенбаум писал об этих письмах Толстого: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 356, 362, 367 и след.

писанная в форме сна, однако она так и осталась ненапечатанной<sup>62</sup>.

В письме к приятелю, Егору Ковалевскому, брату министра просвещения, Толстой поставил свое отрицание литературы с ее институциями в широкий социальный контекст:

Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах <...> состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, – чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что, как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы <...> литература (со всем своим фондом), театры, Академия художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока в России <...> учится 1/100 доля всего народонаселения (60: 328–329, 12 марта 1860).

С этими мыслями он решил посвятить себя делу народного образования.

После смерти брата Николая от чахотки, во время второго путешествия в Европу (в 1860–1861), кризис Толстого приобрел новый характер. Как он писал Фету, со смертью брата он узнал «жизнь, какова она есть» – «как самое отвратительное, пошлое и ложное состояние». Но что же делать?

Ну, разумеется, есть желание есть, ешь, есть бессознательное, глупое желание знать и говорить

---

<sup>62</sup> Очерк «Сон», описывающий восторженную проповедь, которую «я» обращает к внимающей толпе, был написан на основании реального сна, виденного братом Толстого; см. 7: 117–119 и 361–363; см. также письмо об этом сне 60: 247, 250 и дневниковые записи 47: 164, 166.

правду, стараешься узнать и говорить. Это одно из мира морального, что у меня осталось, выше чего я не мог стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь (60: 358, 17 октября 1860).

В течение своей жизни Толстой пережил несколько кризисов, во время которых мысли о смерти и вере соседствовали с острым чувством социальной несправедливости, и всякий раз он писал о своем разочаровании в искусстве и высказывал намерение окончательно бросить изящную литературу.

В качестве альтернативы в 1859–1860 годах Толстой принялся учить крестьянских детей читать и писать в школе, которую он завел в своем имении. Кроме того, он издавал журнал «Ясная Поляна», публикуя дневниковые хроники («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», 1861) и педагогические статьи («О народном образовании», 1862; «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», 1862).

В статье «Кому у кого учиться писать» Толстой предлагает принцип взаимного обучения. (В этой связи он утверждает как «великое слово, сказанное Руссо»: «Человек рождается совершенным», 8: 322.) Он описывает шаг за шагом, как двое крестьянских детей из его школы, Семка и Федька, пишут художественное произведение. (Их повесть напоминает по жанру «народные рассказы», которые сам Толстой будет в 1880-е годы писать для крестьянского чтения.)

Наблюдая за творческим процессом, Толстой испытывает смешанные чувства. С одной стороны, ему кажется странным и оскорбительным, что он, «автор „Детства“, заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики», не только не мог помочь 11-летним полуграмотным мальчикам, но и «едва-едва мог следить за ними и понимать их» (8: 308). С другой – ему казалось, что, побудив крестьянских детей к литературному творчеству, он совершил преступление, сопоставимое с растлением малолетних:

...мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения (8: 307).

Что касается Семки и Федьки, то, увлекшись, они ненадолго сожгли свое художественное произведение в камине.

Деятельность Толстого в народном образовании, как он ее описывает, полна противоречий: он приступил к делу, хорошо понимая и вредность, и даже преступность приобщения «чистой, первобытной души» к чтению, письму и, более того, к литературе.

В 1862 году (вскоре после того, как он опубликовал свои педагогические статьи) Толстой женился и оставил яснопо-

лянскую школу. Через некоторое время он вернулся к литературе и в 1863–1869 годах работал над «Войной и миром».

## **«О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от литературы**

В 1869–1870 годах, вскоре после окончания «Войны и мира», Толстой вновь решил уйти из литературы<sup>63</sup>. Он писал Фету: «Я, благодаря Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу, о проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (61: 236–237, 14 июня 1870). Писать он больше не будет, по крайней мере не будет писать так, как писал раньше: «я не пишу и писать дребедени многословной вроде Войны я больше никогда не стану» (61: 247, январь 1871).

Толстой вновь обратился к народному образованию – возобновил работу в яснополянской школе, снова вступил в педагогическую полемику и опубликовал составленную им «Азбуку» для крестьянского чтения (1872).

Однако в 1873 году он приступил к новому роману, «Анна

---

<sup>63</sup> Эйхенбаум описывает новую попытку Толстого «оставить литературу», или «новый уход из литературы», в книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» (1960): *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 575–578, 600–601. Этому кризису уделяют особое внимание недавние биографы Толстого: *Зверев А., Туниманов В.* Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 269–273.

Каренина». Следующий, решительный кризис в его жизни наступил в процессе работы над «Анной Карениной».

Весной и летом 1874 года Толстой писал своему новому другу, критику Николаю Страхову, что роман его стои́т и во-все ему не нравится. Между тем он отвлекся на другую, педагогическую работу, «в виде своей педагогической profession de foi»<sup>64</sup>. Это была вторая статья под названием «О народном образовании», опубликованная в 1874 году. Неоконченный роман долго еще мучил Толстого, но другие интересы все сильнее требовали его внимания:

Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю Бога только о том, чтобы Он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место – досуг мне очень нужный – не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий (1: 215, 25 августа 1875).

Напомню, что по странному совпадению во время кризиса 1859–1860 годов, описывая свою тогдашнюю повесть «Семейное счастье» как «постыдную гадость», он называл ее «моя Анна».

Сейчас, в середине 1870-х годов, он был разочарован и в роли писателя, подверженного авторскому тщеславию: «Мерзкая наша писательская должность – развращаю-

---

<sup>64</sup> Цитирую по: Толстой Л. Н., Страхов Н. Н. Полное собрание переписки: В 2 т. / Ред. А. Донсков; Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group at the University of Ottawa; the State L. N. Tolstoy Museum, 2003. Т. 1. С. 164.

щая» (1: 259, 8–9 апреля 1876).

Осенью 1875 года Толстой перешел от педагогических занятий и (как он выразился) «педагогической profession de foi» к философским размышлениям о смысле своей жизни и смерти, к тому, чтобы определить свою религиозную веру, то есть к profession de foi в собственном смысле. Эта работа началась в переписке со Страховым, а затем последовала «Исповедь».

Вскоре после окончания «Исповеди» Толстой стал работать над статьей, которая (как он надеялся) окончательно определит его взгляд на искусство. Эта задача будет выполнена только через пятнадцать лет – в трактате «Что такое искусство?» (1897). В этом итоговом произведении по эстетическому вопросу Толстой объявит всю свою художественную продукцию «плохим искусством»<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Эйхенбаум упоминал «Что такое искусство?» в этой связи в статье «О кризисах Толстого». См. также: *Emerson C. Tolstoy's Aesthetics // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 237–250.*

## Глава 2

# «Сказать свою веру нельзя... Как сказать то, чем я живу <...> Я все-таки скажу»: Толстой в переписке с Н.Н. Страховым (1875–1879)

*«Что есть моя жизнь, что я такое»: философский диалог между Толстым и Страховым – «Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее...» – В катехизической форме, в форме беседы – Расскажите, чем вы жили и живете – Эскурс: Руссо и его Profession de foi – Толстой пишет «Исповедь», Страхов продолжает исповедоваться Толстому*

В огромном корпусе писем Толстого его переписка с Николаем Страховым в 1875–1879 годах занимает особое место<sup>66</sup>. Литературный критик и автор популярных трудов по философии Николай Николаевич Страхов (1828–1896) принимал заметное участие в интеллектуальных дебатах свое-

---

<sup>66</sup> По объему письма Толстого занимают шестнадцать томов Собрания сочинений в 90 томах. О переписке Толстого и Страхова см.: Донсков А. А. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Эпистолярный диалог о жизни и литературе. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group at the University of Ottawa; the State L. N. Tolstoy Museum, 2008.

го времени. В частной жизни ему не раз пришлось выступать в качестве собеседника, редактора и конфиденнта – проводника идей и посредника между различными мнениями и различными людьми. (Так, он был связующим звеном между Толстым и Достоевским, которые никогда не встречались<sup>67</sup>.)

Страхов рад был содействовать Толстому своей обширной эрудицией в вопросах философии и богословия. (Используя свое служебное положение библиотекаря в Санкт-Петербургской Публичной библиотеке, он также снабжал Толстого книгами.) Более того, он рекомендовал себя как человека, обладающего особой способностью и потребностью искренне входить в интересы и мысли другого человека (П 1: 207)<sup>68</sup>. Страхов признался Толстому, что давно уже мучительно искал «дела» в жизни (П 1: 207, 22 апреля 1875). Толстой откликнулся: «Немножко мне открылось Ваше душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше» (П 1: 211, 5 мая 1875). Он подозревал, что оба они искали веры. (Оба давно хотели посетить Оптину пустынь и

---

<sup>67</sup> Об этом см.: *Orwin D. T. Strakhov's World as a Whole: A Missing Link between Dostoevsky and Tolstoy // Poetics. Self. Place. Essays in Honor of Anna Lisa Crone / Ed. by Catherine O'Neil et al. Bloomington, Ind.: Slavica, 2007. P. 473–493.*

<sup>68</sup> Переписка Толстого и Страхова цитируется в этой главе и далее по изданию: *Толстой Л. Н., Страхов Н. Н. Полное собрание переписки: В 2 т. / Ред. А. Донсков; Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group; the University of Ottawa and the State L. N. Tolstoy Museum, 2003.* В тексте в круглых скобках после аббревиатуры П (Переписка) указаны том и страница этого издания. Другие тексты Толстого, как и по всей книге, цитируются по Полному собранию сочинений в 90 томах с указанием тома и страницы.

говорить со старцами.) В сентябре они встретились в Ясной Поляне, и Толстой почувствовал душевное родство между ними. Оба они не могли слиться ни с «верующими христианами», ни с «отрицающими материалистами». В письме от 26 октября 1875 года Толстой советовал Страхову «уяснить и изложить» его «религиозное мировоззрение», чтобы «помочь тем, которые в том же бедственном одиночном состоянии». Со своей стороны, Толстой чувствовал, что в этом состоял и его «долг», и его «влечение сердца» (П 1: 221–222). Страхов ответил, что последует совету и сделает, что сможет (П 1: 224, 4 ноября 1875). В ответном письме Толстой бросил своему собеседнику вызов: «вызываю на переписку». Он добавил: «Боже мой, если бы кто-нибудь за меня кончил А. Каренину!» (П 1: 226, 8–9 ноября 1875). (Работа над романом шла туго, с большими перерывами.)

## **«Что есть моя жизнь, что я такое»: философский диалог между Толстым и Страховым**

По просьбе Толстого Страхов начал диалог. Опираясь на свое философское образование (что явно привлекало Толстого), он использовал три вопроса Канта, сформулированные в «Критике чистого разума»: что я могу узнать? что я должен делать? на что я могу надеяться? (А 805/В 833). Для Страхова главным вопросом был второй: «что делать», или, «в переводе на христианский язык: как спасти свою душу» (П 1: 228, 16 ноября 1875). Однако для него это был вопрос не о религиозном спасении, а о возможности активной деятельности.

Толстой ответил, что его всегда занимал один последний вопрос: «На что я могу надеяться?» Для него это был в первую очередь вопрос о будущей жизни, о бессмертии души. Он также полагал, что все три вопроса нераздельно связаны в один: «что такое моя жизнь, что я такое?» (П 1: 210, 30 ноября 1875).

За двадцать лет до этого в своем дневнике молодой Толстой спрашивал себя: «Что я такое? <...> Что такое моя личность». Тогда он отвечал на этот вопрос в биографических и психологических терминах («Один из четырех сыновей от-

ставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей. <...> Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован», 47: 9). Сейчас же это был вопрос не о его личности, то есть свойствах характера и положении в жизни, а о природе человека и его отношении к Богу, и он требовал не биографического, а философского или богословского ответа. Добавив, что может показаться странным и легкомысленным отвечать на этот вопрос «на двух почтовых листиках бумаги», Толстой заявил, что тем не менее может и должен это сделать и сделал бы, если бы писал не письмо «близкому человеку», но «свою profession de foi, зная, что меня слушает все человечество» (П 1: 230).

Затем он сделал длинное отступление о методе. Есть научный метод, убеждающий путем логического изложения результатов знания, но только одна философия – настоящая философия, имеющая задачей ответить на вопросы Канта, – действует не логическими выводами, а чем-то иным, и только гармоничность соединения в одно целое таких нелогических понятий может убедить, и при этом «убедительность достигается мгновенно, без выводов и доказательств». Толстой писал длинно, сумбурно, надеясь, что его собеседник поможет разобраться «в этом сумбуре» (П 1: 234–235, 30 ноября 1875). Как кажется, перед Толстым стояла задача не столько поисков веры, сколько поисков методов определения своей веры.

К этому письму был приложено (написанное рукой пере-

писчика) предисловие к философскому сочинению, озаглавленное «Для чего я пишу?». Толстой начал от первого лица и в биографическом ключе: «Мне 47 лет. <...> я чувствую, что для меня наступила старость». Он писал аллегорическим языком духовной автобиографии: как путник, он поднимался выше и выше «на таинственную гору», но не нашел того, что искал, и начал спуск туда, откуда он вышел. Теперь он вступал в старость, и пред ним была смерть. Отвергнув мысль, что жизнь – это «пустая и глупая шутка» («то сознание, из которого Декарт пришел к доказательству существования Бога»), он стал отыскивать иной взгляд на жизнь, «при котором уничтожилась бы кажущаяся бессмыслица жизни». Итак, «рассказать о том, каким образом из состояния безнадежности и отчаянья я перешел к уяснению для себя смысла жизни – составляет цель и содержание того, что пишу» (П 1: 236–237, 30 ноября 1875). (Через несколько лет в «Исповеди» Толстой воспользуется тем же языком, теми же метафорами.)

Здесь рукопись прерывается. Толстой продолжал свое письмо: «Я не мог дать переписать всего». Он опасался, что «то, что следует, привело бы во искушение переписчика». В том, что следовало, он рассуждал, что удовлетворительный ответ на такие вопросы может дать только религия, но «нам невозможно с нашими знаниями верить в положения религий» (П 1: 237).

Толстой с нетерпением ждал ответа – он ждал от своего

собеседника возражений, чтобы «вам и себе показать <...> гармоничность и законность сопоставления понятий моего религиозного (философского воззрения)» (П 1: 239, 30 ноября 1875).

Страхов ответил, что в своем отступлении о методе Толстой, как кажется, говорит, что наука использует «анализ» (деление целого на составные части), в то время как метод философии – «синтез» (П 1: 240–241, 25 декабря 1875). Толстой не согласился с подставлением слов «анализ» и «синтез» под то, что он хотел сказать. Он добавил, что эти «злодейские слова», вместе со словами «субъективный», «объективный», «индуктивный», «дедуктивный», «наделали много бед» (П 1: 243, 1–2 января 1876). В их философской переписке затем наступил перерыв (обмен обычными, «дружескими» письмами продолжался); Толстой вынужден был вернуться к корректуре «Анны Карениной».

Толстой отправил свое второе философское письмо только 15 февраля 1876 года, приложив к нему очерк «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни»<sup>69</sup>. Обратившись к другому способу изложения (не духовной автобиографии, а философскому рассуждению), он также начал со слова «я» в составе картезианской формулы (которую тут же зачеркнул): «Я существую» (17: 340). (Возможно, образцом

---

<sup>69</sup> Инесса Меджибовская предложила другую интерпретацию очерка «О душе». См.: *Medzhibovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture of his Time: A Biography of a Long Conversion, 1845–1887*. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2008. P. 162–163, 166–167.

послужили слова Руссо в «Исповедании веры савойского викария»: «Mais qui suis-je? <...> J'existe <...>»<sup>70</sup>.) Зачеркнув написанное, Толстой попытался подойти к проблеме с точки зрения своих антагонистов, материалистов: «я живу и по опыту знаю, что и я умру» (17: 351–352). За этим следовало длинное рассуждение о различии между живыми существами и мертвым веществом (он заимствовал эту тему из книги Страхова «Мир как целое» [1872], написанной в форме письма<sup>71</sup>). Это рассуждение привело Толстого к необходимости определить понятие души. Но как определить душу в категориях мышления? В конце концов (после многих страниц) Толстой вернулся к начальной точке: «Не знаю, в какой степени точно выражение Декарта: я мыслю, потому я живу; но знаю, что, если я скажу: *я знаю прежде всего себя: то, что я живу*, – то это не может быть не точно» (17: 351, курсив Толстого). Толстой ждал подробного ответа от Страхова.

Страхову было нелегко вести философский диалог с человеком, которого он боготворил. После долгого промедления он ответил – поставив попытку Толстого в широкий контекст философского знания:

Ваше письмо есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель,

---

<sup>70</sup> Rousseau J.-J. *Émile // Rousseau J.-J. Oeuvres complètes*. Т. IV. Paris: Pléiade, 1959. P. 570.

<sup>71</sup> О реакции Толстого на книгу Страхова см.: Orwin D. T. *Strakhov's World as a Whole*. P. 166–170.

Шопенгауэр. Они точно так же начинали из себя, от Cogito, ergo sum, от я, от сознания воли, – и отсюда выводили понятие об остальном существующем (П 1: 256).

Идя по этому пути, продолжал Страхов (пути посткартезианской философии), мы не сможем достичь того, чего оба желаем, – того, что лежит вне разума и вне субъекта. Таким образом, всегда окажется, что человек, от которого мы начали, или «сознательное я», и есть предел, до которого дошло все сущее. Страхов возлагал огромные надежды на Толстого и его поиски ответов на главные вопросы, но он начал сомневаться в действенности принятого Толстым философского способа рассуждения:

Ваши попытки меня и прельщают и пугают. Если Вы потерпите неудачи, если почувствуете сомнения, то для меня они будут страшнее собственных неудач и сомнений. Потому что в Вас я верю; я жду от Вас откровений, как те откровения, которые нашел у Вас в такой силе и множестве в Ваших поэтических произведениях. <...> Вы пытаетесь <...> привести Ваши взгляды в формулы обыкновенного знания. Я заранее уверен, что результаты, которые Вы получите, будут в сто раз беднее содержания Ваших поэтических созерцаний. Посудите, например, могу ли я взгляд на жизнь, разлитый в Ваших произведениях, не ставить бесконечно выше того, что толкует о жизни Шопенгауэр, или Гегель, или кто Вам угодно? (П 1: 257,

8 апреля 1876).

Высказав сомнения в способности собеседника найти откровения вне художественной формы, он перевел разговор на «Анну Каренину»: «Анна Каренина возбуждает такое восхищение и такое ожесточение, какого я не помню в литературе» (П 1: 258). (Главы 7–20 части пятой вышли в свет в журнале «Русский вестник» в апреле.)

Толстой давно уже просил Страхова перестать хвалить его роман. Что касается своих попыток философствовать, то Толстой понимал, что он выражается неясно, но надеялся, что его собеседник поймет «и дурно выраженное» (П 1: 261). Он сделал еще одну попытку определить тот принцип, который объемлет и живое и неживое, и «я» и «не-я»: «Бог живой и Бог любовь» (П 1: 262, 14 апреля 1876).

Страхов немедленно сел за ответ, но отправил свое «философское письмо» только 8 мая 1876 года (П 1: 271). Он вновь предпринял попытку поставить неясные мысли Толстого в контекст профессиональной философии:

Вы видите в мире Бога живого и чувствуете его любовь. Теперь мне ясна Ваша мысль, и сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие философские системы. Это будет пантеизм, основным понятием которого будет *любовь*, как у Шопенгауэра воля, как у Гегеля мышление (П 1: 263).

Толстой не ответил. Он вернется к философской пере-

писке только шесть месяцев спустя (П 1: 291, 12–13 ноября 1876). Летом 1876 года Страхов дважды посетил Ясную Поляну, и они продолжали свое философствование с глазу на глаз.

Эпистолярный философский диалог зашел в тупик. Другая тема теперь заняла главное место в переписке Толстого и Страхова: «Анна Каренина».

## «Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее...»

В течение всего года Толстой был раздражен призывами Страхова вернуться к «Анне Карениной». Со своей стороны, он упрекал Страхова в том, что тот продолжал заниматься литературной критикой: «Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный и независимый ум, дань Петербургу и *литературе*» (П 1: 244, 1–2 января 1876; курсив Толстого; по-видимому, от французского «*littérature*»). Он просил Страхова показать истинную дружбу: или не хвалить роман, или написать про все, что в нем дурно. В этом контексте Толстой заметил: «Мерзкая наша писательская должность – развращающая» (П 1: 259, 8–9 апреля 1876). Мимоходом он упомянул, что думает оставить роман без завершения (П 1: 259).

Это так взволновало Страхова, что он обратился к Толстому со страстным призывом:

Вы теряете Ваше обыкновенное хладнокровие и, кажется, желаете от меня совета – прекратить печатанье Анны Карениной и оставить в самом жестоком недоумении тысячи читателей, которые все ждут и все спрашивают, чем же это кончится? <...> Вы меня привели в такое волнение, как будто мне самому приходится писать конец романа (П 1: 264–265, апрель 1876).

Он также упрекнул Толстого за то, что тот не отвечал на высказанные им в письмах суждения об «Анне Карениной», спрашивая, правильно ли он понял «идею» романа (П 1: 264)<sup>72</sup>. Толстой решил наконец принять этот вызов: «ваше суждение о моем романе верно, но не все – т. е. все верно, но то, что высказали, выражает не все, что я хотел сказать» (П 1: 267).

Толстой затем сформулировал свое представление о том, что составляет смысл романа:

Если же бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман, тот самый, который я написал, сначала. <...> Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно – словами

---

<sup>72</sup> Комментаторы полного собрания переписки Толстого и Страхова полагают, что существовало письмо Страхова об «Анне Карениной», которое до нас не дошло. Мне кажется возможным, что Страхов имел в виду суждения о романе, которые он высказывал в разных письмах: см. письма от 23 июля 1874 (П 1: 171–72), 8 ноября 1876 (П 1: 186), 1 января 1875 (П 1: 190). Замечу, что Страхов и прежде упрекал Толстого в том, что тот не отвечал на его суждения о романе: см. письмо от 1 января 1875 (П 1: 190).

описывая образы, действия, положения (П 1: 267).

В качестве примера он описал свою работу над сценой самоубийства Вронского (которая чрезвычайно понравилась Страхову). Глава была уже закончена, но когда Толстой стал поправлять ее, «совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться» (П 1: 267, 26 апреля 1876). Если верить Толстому, герой вышел из-под контроля автора. Толстой затем обрушился на литературных критиков: «И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить *qu'ils en savent plus long que moi*» (П 1: 267–268, 26 апреля 1876).

Литературоведы двадцатого века видят в этой (часто цитируемой) формуле утверждение превосходства словесного искусства над другими формами выражения – способности литературы создавать неисчерпаемые смыслы и, может быть, даже выразить невыразимое. Но в то самое время, когда Толстой создал эту формулу, он собирался оставить литературу, оставить «Анну Каренину», и старался овладеть другой формой выражения – философским рассуждением, которому доступны другие задачи – определить сущность человека и человеческой жизни по отношению к Богу. В этом контексте можно прочесть слова Толстого и иначе – как признание писателя в неспособности ясно выразить свою мысль и свою интенцию. В это время ему хотелось не продолжать сражаться с мучительными трудностями художественного выраже-

ния, а обратиться к другому методу – такому, как метод истинной философии, который позволил бы ему сказать то, что он хочет, и найти такую форму, в которой «убедительность достигается мгновенно».

В ответ на настойчивые призывы Страхова вернуться к «Анне Карениной» Толстой, в свою очередь, призывал его бросить литературу и обратиться к философии: «Бросьте литературу совсем и пишите философские книги. Кому же писать? Кто же скажет, что мы думаем?» (П 1: 293, 12 ноября 1876). Но из собственного опыта Толстой знал, что трудность состоит в том, *как* сказать то, что думаешь, в художественной ли, в философской или в какой-нибудь другой форме. В то время как Страхов умолял его не оставить в недоумении читателей, Толстой, автор, сам не знал, что он хотел сказать и чем же это кончится. Обращаясь к своему читателю и критику, Толстой ворчал: «Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее и избавить меня от этого Дамоклова меча» (П 1: 276, 31 июля 1867).

После апрельского выпуска журнала «Русский вестник» (в котором роман был сериализован с января 1875 года) публикация «Анны Карениной» приостановилась. В конце июля читатели все еще ждали следующего выпуска. Роман оборвался после наиважнейшей главы, описывающей смерть брата Левина, Николая – единственной главы романа, имевшей заглавие: «Смерть». С этого момента автобиографический материал будет играть все большую роль в романе (опи-

сание смерти Николая заключает в себе, по мнению исследователей, конкретные детали из жизненного опыта самого автора, смерть его брата Дмитрия в 1856-м и Николая в 1860 году). Более того, Толстой все больше использовал в романе опыт сегодняшнего дня – в образе Левина проявляются черты его настойчивых мыслей о смерти и о вере.

Когда Толстой наконец закончил роман (в апреле 1877 года), то столкнулся с трудностями при издании заключительной части, и это еще более восстановило его против литературы как социального института. Эта история хорошо известна – издатель и редактор «Русского вестника» Михаил Катков отказался печатать эпилог романа (опасаясь реакции цензуры на высказанные героями критические суждения об участии России в Балканской войне). Вместо эпилога издатель поместил без ведома автора короткую заметку от редакции: «Что случилось по смерти Анны Карениной». Толстого это взбесило. Эпилог, в котором его автобиографический герой Левин подошел к невыразимой словами вере, был особенно важен для него. (В этом отношении характерна положительная реакция Толстого на отзыв читателя, который пришел в «неописуемый восторг» по поводу «философии Льва Николаевича»: он «сделал поворот в своих мыслях, прочитав философствования Левина»<sup>73</sup>.) Толстой поручил Страхову печатание эпилога в виде отдельной брошюры,

---

<sup>73</sup> Цитирую письмо Страхова Толстому от 8 сентября 1877 года, в котором он излагает реакцию этого читателя (П 1: 363); см. также ответ Толстого (П 1: 366).

а в дальнейшем и заботы о публикации романа в виде отдельной книги (в которой эпилог стал самостоятельной, восьмой частью романа). В этом смысле Страхов кончил-таки «Анну Каренину» за Толстого<sup>74</sup>.

После завершения романа, в июле 1877 года, Толстой и Страхов наконец предприняли давно задуманное паломничество в Оптину пустынь, к старцам (которые наставляли в вопросах веры и жизни приходивших в монастырь мирян)<sup>75</sup>. Толстому особенно понравился отец Пимен, который заснул во время ученой беседы о вере<sup>76</sup>.

Но при всем том, что было сказано и сделано, Толстой продолжал свои отчаянные поиски веры. Левин (герой, фамилия которого образована от имени автора) нашел веру, а именно (перефразируя последние слова романа) то «чувство», которое «незаметно вошло страданиями и твердо за-

---

<sup>74</sup> История сериализации романа описана в работах Вильяма Тодда: *Todd W. M. Reading Anna in Parts // Tolstoy Studies Journal. 1995–1996. № 8. P. 125–128; Idem. The Responsibilities of (Co-) Authorship: Notes on Revising the Serialized Version of Anna Karenina // Freedom and Responsibility in Russian Literature: Essays in Honor of Robert Louis Jackson / Ed. by Elizabeth Cheresh Allen and Gary Saul Morson. New Haven: Yale University Press, 1995. P. 162–169.*

<sup>75</sup> О старчестве и Толстом см.: *Kolstø P. Lev Tolstoi and the Orthodox Starets Tradition // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. № 3. P. 533–554.*

<sup>76</sup> Посещение Оптиной пустыни обсуждалось в переписке между Толстым и Страховым: П 1: 355 и П 1: 349. См. также: *Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1879 по 1881 год. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 440–441.*

село в душе». Но в то время как герой, Левин, принял, что вера – это «тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами», автор, Лев Толстой, продолжал свои отчаянные попытки выразить сущность веры словами, и не только для себя, но и для других. В самом деле, при всем, что было общего между автором и героем, между ними есть серьезное различие: Левин не написал ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной»<sup>77</sup>. И если помещик Левин мог принять веру как нечто нужное для него одного и невыразимое словами, то Толстой – человек, который, даже когда он писал письмо близкому человеку, чувствовал себя, как если бы он оглашал свою *profession de foi*, зная, что его слушает все человечество, – этого сделать никак не мог (П 1: 230).

---

<sup>77</sup> Как вспоминал Г. А. Гуковский, Б. М. Эйхенбаум любил говорить: «Левин в „Анне Карениной“ все-таки не Толстой, – между ними одно различие, всего одно, но какое! Левин делает и думает совсем то же, что делал и думал Толстой, кроме одного: он не написал „Войны и мира“» (Гуковский Г. Изучение литературного произведения в школе. М.—Л., 1965. С. 62–63). Лидия Гинзбург упоминала об этом в своих записных книжках за 1928 год (Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002. С. 43).

## В катехизической форме, в форме беседы

Как Толстой знал, имеются и общепринятые формы для выражения веры. В ноябре 1877 года, вскоре после того, как он закончил «Анну Каренину», Толстой слышал, как священник давал урок катехизиса его детям. Это было так «безобразно» (Толстой писал Страхову), что он решил сам «изложить в катехизической форме то, во что я верю». Эта попытка еще раз показала ему, как трудно говорить о вере – и даже «невозможно» (П 1: 374, 6 ноября 1877). В бумагах Толстого имеется незаконченный текст под названием «Христианский катехизис» (17: 363–368). Толстой начал с формулы собственного сочинения: «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле <...>» (17: 363). (Эти слова напоминают «Исповедание веры савойского викария» Руссо – «религии сердца», не нуждающейся в догматике.) Главный вопрос, «Что нужно для спасения души?», получил ответ: «Ясное определение того, во что мы верим <...>». Но следующий за тем вопрос, «Что есть вера?», привел Толстого в тупик (17: 364).

Существует черновик и другого незаконченного сочинения, «Определение религии-веры». В этом отрывке Толстой ввел новое понятие – «религия-вера»: «слово религия-вера есть слово понятное и несомненное для всех верующих <...>

> (17: 364). Но для неверующих или для тех, кто полагает, что не имеет религии, слово это требует точного определения» (17: 357). Но ясное определение явно не давалось Толстому: написав полстраницы, он оборвал и смял листок бумаги (именно в таком виде этот текст был найден в архиве Толстого [17: 731])<sup>78</sup>.

После этих неудач Толстой приступил к интенсивному чтению ученых трудов по вопросам религии. Страхов, используя свое служебное положение в Публичной библиотеке, посылал в Ясную Поляну книги. В декабре 1877 года Толстой писал ему, что весь ушел в книги; среди них были сочинения немецких и французских авторов, таких как Давид Фридрих Штраус, Эрнест Ренан, Фридрих Макс Мюллер, Эмиль Бюрнуф (который писал о индуизме и буддизме), а также Владимир Соловьев (1: 385). Толстой спрашивал Страхова о «Критике практического разума» Канта, а также о Лао Цзы и о трудах о религиях Индии и Ирана. Через две недели он упомянул, что у него так много книг, что он в них теряется (П 1: 389, 3 января 1878).

20 декабря 1877 года Толстой предпринял еще одну попытку определить сущность веры, прибегнув на этот раз к форме философского диалога. В диалоге «Собеседники» семеро участников, занимающих различные позиции (они соотнесены с прототипами среди друзей Толстого или из-

---

<sup>78</sup> Меджибовская по-другому интерпретирует выражение «религия-вера»: *Medzhibovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture*. P. 173.

вестных философов): «здоровый идеалист философ» («Фет – Страхов – Шопенгауэр – Кант»); «естественник» («Вирхов – Dubois Raimond – Тиндаль – Милль»); «позитивист» («Бибиков»); «поп умный, отрицающий знание...»; «тонкий диалектик, джентельмен, софизмами оправдывающий веру» («Хомяков – Урусов»); «монах, отец Пимен... (спит)» и «я» («я» носит имя «Иван Ильич»)<sup>79</sup>.

В ходе беседы собеседники рассуждают о том, можно ли обосновать веру различными типами знания – естественной наукой, чистым разумом (по Канту), «диалектическим разумом» и опытом. «Иван Ильич» («я») объясняет «различие способа передачи», объявляет «субъективно-этические основания» главнейшим фактором, утверждает, что сущность религии вытекает из ответа на вопрос «Что я такое?», затем робеет и в конце концов «находится в жалком положении» (17: 371). На этом диалог обрывается.

Толстой вернулся к своему незаконченному сочинению ровно через год, 20 декабря 1878 года, и испробовал другую структуру – разговор между двумя собеседниками («И.» и «К.»). Но после нескольких страниц он вновь остановился, добавив (как бы обращаясь к самому себе – автору, а не ге-

---

<sup>79</sup> В Полном собрании сочинений в 90 т. прокомментированы прототипы собеседников (см. 17: 735–736). Непонятным остается, имеет ли отношение имя Иван Ильич, прототипом которого был сам Толстой, к герою рассказа «Смерть Ивана Ильича», написанного в 1884–1886 годах. (Принято считать, что прототипом героя рассказа послужил умерший в 1881 году Иван Ильич Мечников, брат известного биолога Ильи Ильича Мечникова.)

рою): «Хотел прямо в форме беседы высказать пришедшую мне нынче мысль и запутался» (17: 373). Он продолжал писать в форме дневника, датируя отдельные записи (от 20 до 23 декабря). Но и этот проект остался незаконченным.

В апреле 1878 года Толстой писал Страхову, что на Пасху после долгого перерыва вернулся к соблюдению обрядов и предписаний православной церкви. Но это было не все: «я нынче говел и стал читать Евангелие и Ренана *Vie de Jésus...*» (П 1: 429). Но он ни в чем не находил облегчения. Евангелие и церковь, вместо того чтобы говорить об учении Христа, настаивали на чудесах, в которые нельзя было верить. Ренан, напротив, представил Христа как человека, и этот человек «непрерывно потел и ходил на час» (П 1: 430). И та и другая крайность были неприемлемы для Толстого.

Итак, в течение более трех лет Толстой пытался в разных формах уяснить свою веру, но все его попытки – философская переписка с другом-единомышленником, философское сочинение, катехизис, философский диалог в литературной форме – казались ему неудовлетворительными. Его собеседник Страхов был вовлечен во все эти попытки, и Толстой описывал ему сомнения в своей способности определить веру, трудности с окончанием «Анны Карениной», разочарование в литературе и отчаянье.

Время от времени он писал о своих исканиях и другому постоянному корреспонденту – Александре Андреевне Толстой. В течение многих лет он обменивался с ней откровен-

ными письмами, в которых религия занимала большое место. В письме от 5–9 февраля 1877 года он описал свои отношения со Страховым:

У меня есть приятель, ученый, Страхов, и один из лучших людей, которых я знаю. Мы с ним очень похожи друг на друга нашими религиозными взглядами; мы оба убеждены, что философия ничего не дает, что без религии жить нельзя, а верить не можем. И нынешний год летом мы собираемся в Оптину пустынь. Там я монахам расскажу все причины, по которым не могу верить (62: 311).

Это письмо включает поразительное признание: и Толстой, и его ученый собеседник не только не могли уяснить свои религиозные взгляды – оба они не могли верить. (Позже, в 1880 году, Толстой обратился к Александре Андреевне с предложением обменяться исповеданиями веры – об этом речь пойдет ниже.)

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.